

БАДРИ ГОРИЦАВИЯ

ЧЕРЕШЕНКИ



ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ
БУКВА

ЛитРес: Самиздат

16+

Бадри Горицавия Черешенки

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65812881

SelfPub; 2021

ISBN 978-5-532-95732-9

Аннотация

Три года, как распался СССР. Новое странное время свело в одном месте, а именно – на плавучей нефтяной платформе, двух молодых парней. Ещё совсем недавно у грузина Бадри и русского Юры был на руках паспорт с одинаковой красной обложкой. Теперь же они – граждане двух разных государств. Вахтовики-наёмники в чужой стране. Именно вдалеке от родины, среди холодного Норвежского моря, Бадри впервые слышит это доброе и тёплое название – Черешенки. Так звался район провинциального российского городка, в котором Юра провёл своё детство. Как раз Юркины истории из «того самого» времени – беззаботного и жутко любопытного – чем-то очень цепляют Бадри и помогают ему коротать одинаково скучные каютные вечера на чужбине в течении целых четырнадцати месяцев. В благодарность этим светлым Юркиным историям молодой грузин даёт слово написать книгу (благо, что он мечтает стать писателем) и посвятить её своему русскому другу, его Черешенкам... Бадри сдержал слово. Но, только спустя долгих восемнадцать лет.

Содержание

От автора	6
Вначале	8
Первая глава. Земляничная поляна	10
Вторая глава, она же последняя (далее – только образы). Давид Башмачник, «щука» и лысый попугай	13
Первый образ. Мотоцикл с коляской	35
Второй образ. «Монгол Шуудан»	45
Третий образ. Сосновые иголки	53
Четвёртый образ. Астры Томсона	63
Пятый образ. Днепрогэс	72
Шестой образ. Крещендо	89
Первая часть (короткая)	90
Вторая часть (не короткая)	94
Седьмой образ. Акела промахнулся	109
Конец ознакомительного фрагмента.	118

Бадри Горицавия

Черешенки

*Повесть о другом детстве для ставших другими
взрослых*

*Посвящается моему самому первому читателю
Александру Сыроваткину и двум матерям-тёзкам
– Нине и Нино.*

Благодарности

*Моей нежеланной спутнице – депрессии – за то,
что именно в самые её тёмные часы писались самые
светлые страницы.*

*Воронкову Ю. А. – за вышивывание за забор
не ставшего нужным «кота», что, в свою очередь,
помогло этому самому «коту» дописать эту
повесть.*

*Б. Н. – за протянутую руку дружбы в очень
тяжёлые моменты.*

Девятому мая 2019 года.

*Жареными, варёными, с солью или без соли,
да хоть сырыми можете сожрать друг друга.
Об одном прошу: ни за что на свете только не
отбирайте у детей их детство.*

Чья-то кричащая душа

Дайте детству созреть в детях.
Жан-Жак Руссо

От автора

Не обойтись без вопросов. Что именно было там самым замечательным? Сам факт, что всё происходило впервые, пробовалось на зубок. Ведь, к примеру, всегда так приятно и сладко спать на новом постельном белье.

Детство... Безусловно, его сеанс закончен. Для меня. Для тебя. Может быть, лишь для некоторых едва повзрослевших счастливицев ещё ползут по экрану титры, и звучит финальная песня, но цветная картинка пропала и для них. Что же связывает нас с тем временем, с ещё недавно или давно уже прожитым? За счёт чего мы с ним всё-таки можем соприкасаться?

Есть такой персональный мост. Он перекинут через реку памяти, на тот берег, где твои Черешенки. Они есть у каждого. И у каждого они свои. Мост – в них ворота. И снова вопросы. Стоит ли переходить по этому мосту? Может, это всё пустое? Так нужно ли чесать там, где чешется, а тем более там, где не беспокоит? Неужели все воспоминания – лишь оазис, неспособный утолить жажду? Есть ли смысл тратить на них драгоценные невозвратные минуты настоящего? Ну разве что лишь ради особенной «косметической» процедуры... Ведь нужно стараться разглаживать морщины не только на коже, но и на собственной душе. Если уж и возвращаться с пользой в своё прошлое, то только за этим.

Приятного путешествия. Лёгкого перехода тебе через свой личный «Красный мост». Погости и возвращайся.

Вначале

Вначале были барбариски. «Черешенки» написались именно из-за них. Да-да, именно из-за обычных, тех самых конфет-сосалок под названием «Барбарис». Когда я зашёл в продуктовый магазин за чем-то, мне вдруг ужасно их захотелось – так призывно они лежали на полке в прозрачных пакетиках, красуясь своими знакомыми обёртками. (Это был первый укольчик памяти. Визуальный.) И я их купил. Ещё стоя в очереди на кассу, я не утерпел – надорвал упаковку и запустил в рот одну конфету. «Давненько что-то я ими не баловался... Давненько. Какой же вкус знакомый!» (Второй укольчик памяти. Вкусовой.) Я покинул магазин, и прямо на ступенях его порога меня настиг третий укол. Сыворотка памяти заработала в полную мощь. В голове возродились такие образы, которые, думалось мне, уже давно стёрты окончательно в моём мозгу. Да мне вообще они не вспоминались. И всё, опять же, из-за барбариски. Из-за рассосанной барбариски, упавшей на пыльную ступеньку. Мне кто-то позволил тогда по мобильному, я стал с ним (кем-то) разговаривать, вот она и вывалилась у меня изо рта. Упала и упала. Но тут я совершил такое действие, которое совсем не свойственно приличному взрослому мужчине. Я поднял конфету и, несколько не сомневаясь, отправил её обратно в свой рот. (Есть третий укольчик! Действие.) Что несвойственно

взрослому и приличному, то не зазорно юному и искреннему. Я вдруг почувствовал себя мальчишкой – тем, которым был когда-то. На какую-то короткую минуту, но эта минута была дороже целого года. Вместе с песком, слизанным с барбариски, я словно сплюнул что-то чуждое и совсем мне не нужное. Я как будто освободился от лишнего груза. Опять же – как жаль! – только лишь на минуту и не покидая порога магазина...

Первая глава. Земляничная поляна



«Дикая земляника. Кажется, я становлюсь сентиментальным, а может быть, я просто устал и впадаю в некоторую меланхолию... Что тут такого, когда человек невольно предаётся воспоминаниям о тех местах, где он играл ребёнком. Не знаю, как это произошло, но яркие краски дня сменились ещё более отчётливыми образами, вставшими из памяти и

явившимися перед моими глазами так живо, будто я наблюдал реальные события...»

Мои воспоминания (вернее, воспоминания моего русского друга) связаны совсем с другой ягодой. Но если одному очень известному шведу¹ удалось оживить давно минувшие моменты, вернуть им живой аромат и умудриться раскрасить их яркими красками, совсем при этом не прибегая к цветной палитре, так почему то же самое не может совершить никому не известный мегрел. Я не ставлю знака вопроса, потому как вопроса никакого и нету. Нет надобности мне его задавать. Просто хочется искренне верить, облачившись, как в латы, железной надеждой, что он (тот самый мегрел, то есть я) тоже может, что никого ещё не подводила эта неразлучная (если она неразлучная) троица – Вера, Надежда, Любовь, – а я ведь действительно очень полюбил Черешенки Юркиного детства. Да и известность здесь совсем ни при чём.

Ягоды достаточно выспели, они даже уже сорваны. Мне остаётся лишь сварить из них такое варенье, вкусив которое в будущем, внутренний взор не сможет поспевать за всплывающими образами, а язык будет то и дело обманываться в их оазисной реальности и путать прошлое с настоящим, рассказывая историю Черешенок то от лица мальчишки, то от взрослого лица, но, по сути, того же самого мальчишки. И будет там очень много «почему-то» и «зачем-то», как и положено в любом любознательном детстве.

¹ Речь об Ингмаре Бергмане.

Во всяком случае я попробую сварить это варенье, а уж вам судить после, какой из меня словесный повар. Одно знаю точно: что, пригубив даже всего лишь ложечку, вы обязательно почувствуете давний, очень знакомый вкус, который ничем перебить невозможно. Это вкус того самого тянучего времени, когда кажущаяся сложность окружающего мира совсем не пугала; её замысловатое, порой таинственное величие словно бы разваливалось перед логикой широко раскрывшего глаза юного человечка. А логика эта до того проста и от того так пугающе разрушительна для сотканного из сомнений и страхов взрослого сознания.

«Видеть. Удивляться. Радоваться». Даже в самый ненастный день повзрослевшие глаза с потухшими внутри искрами от некогда день и ночь горящих бенгальских огней приобретают странную способность недоверчиво щуриться, будь перед ними хоть слон с павлиньей головой, хоть фиолетовый рассвет, отражающийся на зелёном снегу. Большинство из нас останавливается на «Видеть», мало кто дотягивает до «Удивляться», а о «Радоваться» говорить – всё равно что о вымерших динозаврах всерьёз рассказывать.

Радостная любознательность детства, ты куда исчезаешь потом? Во что превращаешься?

**Вторая глава, она же
последняя (далее – только
образы). Давид Башмачник,
«щука» и лысый попугай**



Наверное, Давиду было всего десять, когда я в первый раз услышал от него, чем он мечтает заниматься, став взрослым. Непостижимо ясная и очень ранняя личностная определённость своего жизненного призвания. Да, ясная, абсолютно, потому как это не было просто туманной мечтой. В его словах чувствовалась кристальная уверенность, что именно так и будет.

Точно, не больше десяти лет ему тогда было. Он переехал с семьёй в Поти из столицы, когда я третий год учился в школе. Как раз в ту же школу и определила его мама, и он попал в мой класс. Надо сказать, что мама и была вся его семья. Что-то у неё не заладилось с отцом Давида, и она вынуждена была покинуть Тбилиси и вернуться на свою малую родину. Единственный сын её поехал вместе с ней.

С первой же недели нашего знакомства Давид стал моим другом. Постепенно это звание обросло важным и более ответственным значением – «лучший». Со своей стороны и Давид увидел во мне братскую душу. Бадри и Давид из 3«А». Именно тогда был заложен наипрочнейший фундамент нашей тридцатилетней дружбы. Теперь нам ровнёхонько по сорок. Я на широкую ногу отметил летом свой юбилей в родном Поти, снял на сутки целый маленький отель с рестораном и большой летней верандой на берегу моря для ста сорока четырёх гостей (именно столько их пришло, хотя планировалось меньше). Давид, полная противоположность мне, даже телефон отключил и уехал один на рыбалку, чтобы в

день своего рождения в его уши не залетело ничьё поздравление. Давид жутко суеверный. Всегда такой был, таким и остался. Помнится, мы только-только начали обживатьсь в своём четвёртом десятилетии, а он уже всем объявил, что сорокет праздновать ни за что не будет, потому как примета плохая. Пролетели десять лет со свистом, и он сдержал своё обещание. А кто бы сомневался? Слово Давида имело прочность алмаза, я уж это точно знал. Тогда, в школе, когда мы ещё едва успели узнать друг друга, разговорившись, я спросил его:

– А кем ты мечтаешь быть, когда вырастешь?

Он не задумываясь ответил:

– Я буду продавать людям ботинки.

Все, кто тогда слышал его ответ, засмеялись, и я тоже. Ведь все мы были будущими лётчиками, моряками, космонавтами, на худой конец таксистами. А тут на тебе, Давид – башмачник. Так и прилипло к нему это прозвище.

И вот прошло целых тридцать лет. Полжизни он уже живёт в России, в большом городе на берегу Волги.

В тот день мой друг открывал свой уже четвёртый в Самаре магазин обуви. Мы сидели как раз напротив него, в уютном ресторанчике «Садко», и отмечали открытие. Долго уже там сидели и очень даже хорошо. Давид то и дело смотрел в окно. В нём, на той стороне широкого проспекта, красовалась новёхонькая вывеска «ДАВИД БАШМАЧНИК». Его сеть обувных.

А вчера мы отмечали у него дома мой приезд. Я всё-таки привёз для него подарок к его юбилею, и он его принял.

— После даты можно, — сказал он, хитро улыбнулся и обнял меня. Тяжёлая картонная коробка, перевязанная крест-накрест толстой пеньковой верёвкой, легла ему на руки.

Он, не сумев сразу справиться с замысловатым узлом, потянулся было за ножом. Но я его остановил:

— Нет, нет, Давид, так не пойдёт. Руками, только руками. Неужели ты позабыл со своими ботинками все узлы старого Або?

— Ну хорошо, — сказал Давид, потёр лоб обеими ладонями и принялся вертеть во все стороны верёвочные концы. Я видел, хорошо видел, как на секунду потускнели его глаза, когда я произнёс имя старого Або, словно они обратили взгляд свой внутрь себя. Я знал, что они в этот момент увидели. Я был просто в этом уверен. То далёкое прошлое, Поти нашего детства.

Они снова увидели большой маяк и его смотрителя дядю Або. Мы называли его старым Або, но тогда для нас все были старыми, кому было больше сорока лет. А может, мы его так называли из-за того, что он сам звал себя старым моряком.

У дяди Або был молодой помощник, который нас вечно гонял с территории. Мы его за это не любили, вечно он важничал и орал в свой жестяной рупор:

— Вам не положено находиться на территории. Брысь отсюда!

Мы убегали, но совсем недалеко. Прятались в кустах и ждали, когда старый Або спустится с маяка и сядет в беседке покурить. Если бы мы это не знали, то и не ждали бы никого. И он спускался. Всегда.

Тогда-то мы окрикивали его:

– Дядя Або! Дядя Або!

Он неизменно махал нам рукой, и мы быстро подбегали к беседке и садились кружком у внешней стороны её стенки, чтобы с маяка нас не было видно. Но молодой помощник всё равно много раз замечал нас, на то он и молодой, и сверху раздавался его трубный голос:

– Або Ростомович, вы нарушаете инструкции.

Вредный помощник, конечно же, видел, что мы с ведома дяди Або находимся на его чёртовой территории и что тот премило с нами о чём-то каждый раз беседует, перегнувшись через стенку беседки. Это мы называли молодого помощником, но на самом деле он был начальником маяка, что нами ни в какую признаваться не желалось. Для нас дядя Або был главным.

Всю нашу мальчишескую стаю дядя Або весело называл секлёй:

– Ну давай, секля, разбегайся по-быстрому, засеки вас. А то сейчас начальник сеточку-то на вас поднабросит.

Но когда с маяка не раздавалось жестяного возгласа насчёт нарушаемых каких-то там инструкций, дядя Або говорил нам:

– Ну что, секля, узлы вязать будем?

И мы хором отвечали ему:

– Будем, будем.

– Ну тогда давай сюда поплотнее, чтобы всё видели, и голове чтоб из садка никто не высовывал. Ясно, секля?

– Ясно, ясно, – снова твердили мы и вручали дяде Або принесённые с собой куски верёвок.

И тут начиналось настоящее волшебство. Вязались морские узлы: сложные, очень сложные, совершенно секретные. Мы наблюдали и учились, раскрыв рты, как ловко и быстро большие и сильные руки нашего любимого зрителя маяка колдуют с концами верёвок. А вместе с узлами вязались и удивительные рассказы старого Або о морских путешествиях, о разных странах, об удивительных рыбах и животных. Рассказы эти были расцвечены разными красками, они гремели и бурлили, и даже как будто наяву издавали запахи. Их можно было, как казалось, даже потрогать – точно так же, как и завязанные узлы. Всю свою жизнь с семнадцати лет дядя Або проработал моряком на рыболовецком корабле и только тогда, когда, с его слов, он стал негибким стариком, устроился дежурным на маяк.

– Пришло и мне время указывать кому-то путь, – так он говорил.

Дальнейшая судьба старого Або как-то растворилась в моей памяти. Я уже не помню, то ли мы постепенно перестали лазить на территорию маяка, то ли дядя Або перестал там

работать.

– Помню! Помню! – чуть ли не кричал довольный собой Давид, распуская освобождённые от хитроумного узла концы пеньки.

В раскрытой коробке тесными рядками стояли двенадцать бутылок чудесного «Усахелаури». Волшебный вкус и аромат древней Грузии.

Чаще всего, наверное, говорят именно так: «Четвёртая была явно лишняя», чем наоборот: «Если бы не четвёртая...» В первом случае имеется в виду что-то не слишком хорошее, сотворённое на хмельную голову. В последнем же – радостное стечение обстоятельств.

В моём случае вышло как раз наоборот. Так вот, если бы не четвёртая бутылка «Усахелаури», которая, как и три предыдущие, уже выпитые до этого, тоже лежала в багажнике моей машины, я никогда, скорее всего, так и не вспомнил бы о Черешенках.

Мы всё-таки уболтали управляющего «Садко», что можем пить своё вино, а не ресторанное. Он согласился, но скорее из своих корыстных побуждений. За каждую нашу мы должны были оплатить две бутылки какой-то итальянской кислятины.

– Чёрт с вами, – сказал тогда Давид, махнув рукой, и довольный управляющий звонко затюкал своими каблуками по мраморному полу в сторону обслуживающего нас официанта. Управляющий был в юбке. С женщинами долго не торгу-

емся.

Как всегда в таких случаях бывает, нам не хватило трёх бутылок, и я отправился за четвёртой.

Мне нужно было пересечь проспект и зайти за тот многоэтажный дом, в котором как раз находился магазин Давида. Там во дворе я и оставил свою прокатную машину.

Сначала я заметил попугая. Такого трудно было не заметить. Жёлтый волнистик, нахохлившись, сидел на деревянной жёрдочке в небольшой клетке. Он был наполовину лыс. Не то чтобы одна его половина была в оперении, а другая нет. Просто весь его канареечный раскрас то тут, то там нарушали совершенно голые места, в которых розовела кожа. Словно из них кто-то специально повывёргивал все перья. Клетка была в руке у широкоплечего мужчины, за другую руку его крепко держала светловолосая маленькая девочка. Они находились как раз передо мной, когда я уже возвращался к «Садко» с четвёртой бутылкой дорогого (уже во всех смыслах) вина. 147 секунд нам вместе предстояло ещё простоять перед пешеходным светофором. Мне и полулысому попугаю. 146, 145, 144 – обратно отсчитывало маленькое табло зелёные цифры, и мне отчего-то страстно захотелось заглянуть в глаза бедной птицы. Я сделал один шаг в сторону и ещё один вперёд и, даже не успев вобрать в себя хоть капельку всей птичьей тоски, радостно закричал:

– Юрка! Юрка, ты ли это, брат лихой?! Семнадцать лет!

Целых долгих семнадцать лет мы не виделись с ним.

Юрка меня весомо поправил:

– Нет, Бадри, уже восемнадцать.

Он погрузнел. Значительно, надо сказать. Тогда, давно, он был сухим, ни жиринки. Сейчас заметное пузико оттягивало его рубашку в районе поясного ремня.

– Кто бы говорил, – рассмеялся он и похлопал по моему животу.

Я тоже засмеялся, наигранно оправдываясь:

– Только что из-за стола. Ей-богу. А так каждый день зарядка. Утром, вечером, утром, вечером.

Он смеялся, пожирая меня радостными глазами. 150, 149, 147 – табло начало другой отсчёт, уже красный.

– Брат, а кому ты волосы свои продал? – я провёл по его гладкой голове ладонью. Юрку как будто настигло то же несчастье, что и попугая в клетке, которую он нёс. Только, в отличие от пернатого, он не выглядел печальным.

– Ветром посдувало, брат. Время. Пучками разлетались, а мне лень было за ними бегать, собирать их.

Мы снова обнялись. Девочка оказалась дочерью Юрки, её звали Саша. Свежеиспечённая первоклашка. Оказывается, она слышала обо мне – Юрка ей рассказывал. Вот как бывает.

– Ну вот, Сашуль, это и есть мой друг-грузин.

– Тот самый? А где его усы? – задала Саша отцу вопросы обо мне, словно меня и не было с ней рядом.

Да, мои шикарные чёрные усы... Лет пятнадцать я их уже, наверное, не ношу. Но Юрка меня запомнил как раз с ними, хоть и видел мои поздние фото. (Мы с ним какое-то время писали друг другу письма, потом как-то постепенно переписка сошла на нет. Как обычно.) Ветром времени сдуло, как и волосы моего давнего друга, мои усы.

Восемнадцать лет назад нас обоих пестовала дерзкая молодость или мы её. Она же и свела нас в одном месте. Этим местом была норвежская нефтяная платформа, на которой мы провели целых четырнадцать месяцев без перерывов. Неустроенность очень странного времени конца того века, а также зов дальних дорог подвигли нас поставить подписи под полуторагодовыми контрактами. Его самолёт вылетел из столицы, мой – тоже из столицы, но уже три года как совсем другой страны. Через несколько часов их колёса уже катили по бетонному полотну бергенского аэропорта. Еще через несколько часов таких, как мы, будущих вахтовиков, было уже человек тридцать, все из бывшего СССР. Мы гурьбой стояли вокруг долговязого норвежца, в руке которого была длинная палка с фанерной табличкой на конце. На табличке с двух сторон аккуратная надпись на русском «Добро пожаловать», чуть ниже – NORTH OIL и логотип этой компании (нашего будущего работодателя) – чёрная капля на фоне белой снежинки. Дождавшись ещё один самолёт, на этот раз из Минска, с восемью белорусами-нефтяниками, мы тут же получили на руки распределительные документы в синих,

красных и жёлтых папочках. Цвета означали платформы, на которых нам предстояло трудиться. Мне и Юрке, которого я ещё, конечно, не знал, достались красные. Платформа № 7 – «щука», как мы её прозвали, от норвежского «щу» – семь. Ближайшей сушей от нас были два острова, которые населяли жители коммун (общин). У островов были чудные названия – Хитра и Смёла. Мы ещё шутили, что на одном куске земли живут хитрые, а на другом – смелые, а вместе им никак почему-то не ужиться. Наша «щука» была плавучей и занималась поисково-разведочными работами. Высоченная махина высотой больше девятиэтажки то и дело совала свой длинный стальной нос в дно Норвежского моря, а нашей непосредственной задачей была собирать, разбирать и тщательно очищать многометровые секции этого самого носа. За четырнадцать месяцев мы раз двадцать сменили место разведки. Но в этих переменах совсем не было, если можно так сказать, самих перемен. Бескрайнее холодное море, пронизывающий ветер и никогда не прекращающийся шум бура и генераторов.

И вот мы с Юркой снова вместе. Хотя ещё тогда, уже достойно оттрубив свою длинную вахту и прощаясь в Бергене, обещали скоро встретиться, звали друг друга в гости, обменивались адресами. Но, как чаще бывает, закружила жизнь, завертела, вырастали всё новые проблемы, отлетали и снова появлялись. Скорой встречи так и не вышло.

– Ну как ты, брат? – задал я дежурный в таких случаях

вопрос, как будто можно односложно на него ответить за все годы разом. Я это понимал, но всё равно его задал.

– Да вот, Стёпку в ветеринарку лечить носили, – так Юрка неожиданно ответил и добавил, не дав мне опомниться: – Представляешь, покупали его за пятьсот рублей, а чтобы вылечить, отдали две тысячи.

Я понял, что он рассказывает мне о том самом наполовину лысом попугае в клетке. Мне так понравился этот оборот нашего разговора, словно мы и не расставались на восемнадцать лет, а только ещё вчера виделись, что я с удовольствием его поддержал:

– Так, может, легче нового купить?

– Нет, не надо мне нового. Я Стёпу люблю. Он друг мой, – тоненький протестующий голосок донёсся снизу. Маленькая Саша стояла, надув губки, и сверлила своими синими пуговками глаз то меня, то отца. Видимо, этот вопрос уже обсуждался ими и до меня.

Я кинулся заглаживать свою ошибку.

– Ну если только друг. А он настоящий твой друг? – я присел перед обиженной крохой на корточки и взялся за её мягкие ладошки.

– Конечно, настоящий. Я ему корм сыплю, водичку наливаю. Я его даже говорить учу. Он пока, правда, не научился, но научится обязательно. А теперь вот лечить его буду, – очень серьёзно проговорила Саша, а меня её речь пробрала до позвоночника. Только ребёнок мог так охарактеризовать

своего лучшего друга. Тем, что он сам для друга готов сделать и делает, а не наоборот.

– А что с ним? – спросил я уже Юрку.

– Какой-то клещ перьевой. Вот, понадавали мазей, порошков всяких, – ответил Юрка и потряс бумажным пакетом с логотипом, скорее всего, той ветеринарки, где они только что побывали: улыбающийся крокодил над надписью «Неболит».

В «Садко» я больше в тот день не входил. Давид вынес мне из него пакет с шестью бутылками той самой итальянской кислятины, я извинился, и мы вчетвером зашагали домой к моему русскому другу: он сам, его дочунька Саша, их попугай Стёпа и я – тот самый грузин. Юрка уже семь лет как, оказывается, жил в Самаре (Вселенная никогда не перестанет меня удивлять своими сюрпризами), его Саше было столько же. Она была дочкой от второго его брака. Всю дорогу до его квартиры мы восхищённо обсуждали Его Величество Случай, ну и, конечно же, вспоминали.

В их тесненькой двушке, когда мы туда вошли, нас встретила взрослая копия Саши. Те же пшеничные волосы, те же почти идеально синие большие глаза, пухлые губы, только звали её по-другому – Елена. Она была женой Юрки. Оказалось, она тоже знала про грузинского друга.

– Как хорошо, что завтра суббота, – повторял каждый раз Юрка, прежде чем раскупорить новую бутылку.

– Никакая не кислятина, а благородное «Кьянти», как раз

под мясо, – Юркина жена то ли успокаивала меня, без конца извинявшегося и сокрушавшегося, что смог принести им лишь одну бутылку с настоящим вкусом Сакартвело, то ли ей действительно нравился вкус «садковского» вина. Но под тушёную свининку оно и вправду было вроде ничего.

Когда Саша с Еленой, пожелав нам спокойной ночи и шутя приказывая: «Никуда ночью не исчезать!», ушли в спальню, я спросил Юрку:

– У тебя ведь ещё сын вроде бы есть?

– Да, Пётр. Он уже большой, на следующий год в армию, остался на родине, с матерью своей.

– На твоей родине? Это там, где Черешенки?

У Юрки глаза от удивления расширились.

– Ты помнишь?! – воскликнул он.

– Ну конечно, брат, – ответил я ему, и наши потные лбы сомкнулись.

Ещё тогда, на металлическом острове средь бескрайнего чужого моря, я впервые услышал от Юрки это красивое доброе название. Перед входом в хорошее место обычно раскатывают красную ковровую дорожку. Юркин родной городок как раз таким и был. Провинциальный, маленький, тихий. Хороший. Западную и южную части его облизывает речка. Она не слишком торопливая и совсем не глубокая. Несёт спокойно свою чистую воду – поить Дон. Чтобы попасть в город, нужно эту речку пересечь. Въезд с южной стороны. Именно здесь вместо красной ковровой дорожки «раската-

ли» давным-давно каменный мост. Красный мост. Именно такое у него название. Говорят, что во время Гражданской войны он то и дело переходил из рук в руки – то к красным, то к белым. Чаще к красным, поэтому и название такое. Другие говорят, что обозвали его Красным значительно раньше, когда ещё и в помине не было серпа и молота – вернее, они существовали, но использовались только по их прямому назначению. Тогда язык людей был немного другой – звучнее и образней. Именно за красоту деревянной тогда ещё переправы через речку ласково называли мост Красным. «Как вы лодку назовёте...» И ведь сбылся всё-таки этот мультяшный морской закон – в современности. Мост однажды ремонтировали, меняли бетонные пролёты. Кран, их поднимающий, перевернулся от перегруза. Трёх жизней как не бывало. Красный мост обагрился. В прямом смысле.

Черешенки были районом того маленького городка. Три длинные улицы временного жилья для семей дорожных рабочих были воздвигнуты за какие-то полгода. Мимо городка в то время проходила трасса, которая получила статус федеральной, и её было решено расширить и капитально отремонтировать. Для осуществления задуманного вдруг потребовался большой человеческий ресурс. Вот тогда из близлежащих деревень и сёл в город потянулись целые семьи на заработки. Дома возводились очень быстро, потому как они были барачного типа и состояли из отдельных больших контейнеров, каждый из которых был чьей-то квартирой. На

каждый дом приходилось пять таких контейнеров. Значит, пять квартир, пять семей. Крыша была общей – двускатная, шиферная. В каждой квартире была выложена из силикатного кирпича печь. Ни водопровода, ни канализации, ни газа утверждённым проектом предусмотрено не было, слова «всё равно же временное» были основным аргументом в пользу этого. Но, как уже не раз мусолили знаменитую фразу о том, что нет ничего более постоянного, чем временное, и на этот раз она оказалась верна.

– Неужели до сих пор стоят? – спросил я у Юрки (мы снова затеяли тот давний разговор. Кухонное воспоминание о давнишних воспоминаниях).

– Стоят. Ещё как стоят. Только маленьким каким-то мне всё показалось. Сарай словно в землю наполовину вросли. А так много кто стены кирпичом обложили, газ провели. Унитаз, ванна внутри – благодать. Только за целый час, что я там пробыл, ни одного знакомого так и не встретил. Только в частном секторе кое-кого из старых приятелей нашёл.

Помолчали. Выпили. Опять помолчали.

– А ты знаешь, Бадри, я ведь до сих пор так и не искупался в море, – неожиданно сказал Юрка, напомнив мне тем самым моё давнее удивление в далёкой Норвегии, когда я так был поражён этим фактом. Для меня, выросшего на берегах Чёрного моря, это казалось немыслимым. Но тут Юрке снова удалось меня поразить, да ещё сильнее, чем тогда.

– Как?! До сих пор? – я чуть не вскочил со стула.

– Ну да. То одно, то другое. Развод, переезд, дети. Так и не вышло. Но мы с Леной решили, что в следующем году обязательно поедем. Будь что будет. А когда ещё? Все гоняют. Чем мы хуже?

– Брат, я даже знаю, куда вы поедете. Ко мне в Потти. И не смей возражать! Я хочу, чтобы в первый раз ты омочил своё тело морской водой в Малтакве. Там и Леночке твоей, и Саше всё понравится. Уверен. А потом в Батуми рванём. Ты знаешь, из него какую куклу сделали!

– Нет, не знаю. Откуда, брат? – ответил улыбающийся Юрка.

Ещё на норвежской платформе он всё порывался исправить своё жизненное упущение. Благо что тёплый Гольфстрим мог ему это позволить. Но строжайшая инструкция, запрещающая купаться в открытом море, вплоть до моментального увольнения, перечеркнула все его попытки.

– Херня какая-то! Кому расскажи – не поверят. Полтора года на море, и ни разу даже ноги не намочил в нём, – сокрушался тогда Юрка.

Мы постепенно за разговорами встретили следующий день – стрелка часов переползла через нулевой рубеж. Из спальни перестал слышаться телевизор, его выключили, там все уже спали. И тут Юрка вдруг сказал мне:

– Бадри, а ты ведь мне кое-что обещал тогда. Говорил, что обязательно вышлешь.

Слово «обещал» пронзило меня насквозь, я стал лихора-

дочно рыться в своей памяти. Мои забеспокоившиеся глаза выдали меня, и Юрка помог в моих безрезультативных поисках:

– «Черешенки». Книга. Ты же меня сам по вечерам о них допытывал. Забыл?

Большая зелёная тетрадь. Сразу именно она возникла перед моим внутренним взором. «Где она сейчас? Где-то дома. Я её точно не выкидывал». Она была со мной и в Норвегии. Я тогда писал. Неведомое и неподконтрольное моей воле такое вот желание распирало тогда меня. Молодость, наверное. Нет, это слишком претенциозно звучит – писал. Я пытался записывать в ту тетрадь свои, как тогда казалось, умные мысли. Она даже имела название: синей шариковой ручкой на обложке крупными буквами было выведено «Хроника пикирующего сознания». Все подтрунивали надо мной: «Что ты там всё записываешь, Бадри? Уж не грузинский ты шпиён?» Однажды я как бы шутя признался Юрке, когда мы были вдвоём в каюте, что, мол, книгу хочу написать, но не знаю, с чего начать:

– Вот мне бы сюжетец какой-то интересный, я бы тогда...

А Юрка на полном серьёзе меня поддержал:

– Молодец. Я тоже когда-то пробовал писать, но как-то не пошло. Понимал, что хочу писать, но, начав, ещё яснее понимал, что не умею. Воображение ого-го какое, а буквы на бумаге не получается складывать. Ну хоть попробовал. И ты попробуй. С простого начни. Не замахивайся на «Войну и

мир» сразу. Сказку какую-нибудь напиши для начала, историю детскую. Тут главное – образ зрительный подходящий найти и начать его раскручивать.

Наш разговор на «щуче» закончился в тот вечер тем, что в середине моей зелёной тетради я крупно сверху листа написал: «Черешенки». Это случилось после его слов «Да что там придумывать? Вот возьми о моём детстве напиши. Уверен, оно окажется похожим на детство многих. Значит, найдутся те, кому будет интересно это почитать».

Юрка умел рассказывать, был прав про своё воображение: сочно он это делал. Теперь он частенько сыпал в мою голову по моей же просьбе свои детские воспоминания, а я их по ночам превращал в неровные буквы. Да, точно, обещал я ему, что обязательно допишу свою книгу о его Черешенках и вышлю ему по почте; я ею действительно был тогда страстно увлечён. Но как, видимо, всё тот же вечно неугомонный ветер жизни, который без конца, как пустые пластиковые стаканы со стола, сдувал Юркины планы наконец-то добраться до тёплого моря (да хоть и не тёплого), так и со мной – выдул он постепенно из моей головы всю былую страсть к писательству, и не вспоминал я об этом уже давно. Но теперь вот, спустя столько лет и зим, когда я сидел в доме моего друга, кушая с его стола, меня вдруг что-то обожгло внутри, и давнишняя затея вновь показалась очень серьёзной, хотя ещё вчера у меня были куда более важные дела и замыслы. Но, видимо, для каждого дня свои заботы. Или всё это про-

сто вино. Я положил руку на Юркино плечо и сказал:

– Прости меня, брат, не сдержал я своего слова. Выходит так, я...

– Да ладно, ладно, Бадри, ты чего?! Что за ерунда! – перебил меня Юрка. – Просто мне вспомнилось, и всё.

Но и я его тоже не стал до конца выслушивать:

– Нет, не ерунда. Совсем даже не ерунда. Давай вот что сделаем. Сейчас нальём, выпьем и дадим друг другу слово, что на следующий год ты приезжаешь ко мне в гости, в Грузию, а я тебе там вручу дописанную книгу. Или не книгу, а что там получится, не мне об этом придётся судить, но я закончу на бумаге начатую историю. И не смей мне возражать!

– Тихо-тихо, – Юрка накрыл ладонью мой кулак, который только что громко ударил по столу.

Спустя неделю я был уже в Потти. Всю дорогу из аэропорта, скованный уже двойным обещанием (всё-таки это было не просто вино), я только и думал, что о ней: «Не выкинули ли её случайно во время позапрошлого капитального ремонта нашего семейного дома?» Я дал слово. Нарушать его не в моих правилах.

Нет, цела! Мама. Ах, мамы, мамы, вообще все мамы! Только вы так умеете всё хранить! Я нашёл свою зелёную тетрадь в картонной коробке из-под видеоманитона вместе с моими школьными тетрадями времён начальных классов и всеми восемью дневниками – именно столько лет я проучился в школе. Моя заботливая мама Нино позаботи-

лась не только о настоящем и будущем, но и о давно минувшем.

Тетрадь раскрыта на листе «Черешенки», красная ручка, для того чтобы править, наготове, синяя тоже.

Итак, как ты, Юрка, там говорил? «Главное – найти нужный образ...»

Первый образ. Мотоцикл с коляской



Еду к бабушке. Хотя у меня было две бабушки и к тому

же ещё один дедушка, но я всё равно говорил именно так: «Еду к бабушке», как будто она у меня была только одна. Всем так говорил и особенно по субботам. Вот и Петрову с большим сожалением пришлось это сказать. Вообще-то, зовут его Серёга, но так уж повелось, что между собой мы называли его только по фамилии. И не было тут никакого злого умысла или знака неуважения. Просто он не имел прозвища – маленький такой недостаток, только и всего. Так выходило, что фамилия и была его прозвищем. А как без прозвища? Нет, без него мальчишкам никак нельзя. Как в лесу среди похожих деревьев легко потеряться, так и в одинаковых именах нетрудно запутаться. Каждый должен иметь своё личное прозвище. У кого-то их было даже несколько. Богачи! А иначе был бы бардак, не понять ничего. Взять тех же Серёг. Их так много, Серёг этих самых, и как в них разобраться, если у них прозвищ нет? Трудно, жуть. Вот и вступали в силу проверенные временем уличные ориентиры. Серёги, Сашки, Лёхи, Юрки, Андрюхи... Да вообще все обязательно переименовывались, а вернее, получали дополнительные имена – для удобства, для форсу, потому что так было заведено. Кем и когда, правда, неизвестно. Да и сама история получения такого имени зачастую размышлялась до полного забвения, и не вспомнить уже было, почему именно так, а не иначе кого-то прозвали. Кому-то не везло, ему не доставалось никакого прозвища, и его называли между собой лишь по фамилии. Так было, да и будет так всегда у мальчишек на улице.

Вот и мне, как и Петрову, не повезло. Правда, меня звали не по фамилии, а просто Юрка, Юрец, Юрок. Не было в нашей большой компании больше никого с таким именем, вот и всё объяснение.

Вот все мои знакомые Серёги: Сева, Пелёдик-младший, Медведь, Заяц, уже знакомый вам Петров, ещё двое беспрозвищных – Серёга Кралин и Серёга Савенков, и Сухарь из частного сектора.

Петров, несмотря на свой «недостаток» (ну не хотела улица давать ему второе имя, и всё тут), был моим близким другом. Он жил на одной со мной улице, через два дома. У него не было братьев и сестёр. Он был один ребёнок в семье, зато родителей у него было двое, как и должно быть. Как же это здорово, когда у тебя есть и мама, и папа! Родители Серёги были обыкновенными, в космос из них никто не летал, на «Волге» тоже из них никто не ездил. Они были одинаковы в своей простоте, но не в своей внешности. Очень уж смешно смотрелись они, когда находились рядом. Отец на полторы головы ниже мамы и щуплый, как комарик. Маленький такой человечек, тихий и частенько немного пьяненький. У мамы Серёги, немногословной грузной женщины, что-то было не так с ногами. Она зачем-то постоянно носила на них серые толстые бинты. Рано утром уходила на работу с туго забинтованными до колен голенями, а вечером возвращалась, и бинты уже были сильно расслаблены, а то и вовсе сняты. Тогда видны были её вспученные бурыми буграми вены.

– Юрец, гулять пойдёшь? – Петров держал в руке свежесломленную от какого-то дерева ветку.

«Для „баночек“ палка», – догадался я.

– Что, в «баночки» пойдёте играть?

– Н-н-ну да. Щас Л-л-лавреша ещё сюда подойдёт. Мурый с Храмовым уже ушли, – он сильно заикался на согласных «н» и «л».

– На «точке» будете играть?

– Н-н-ну да. Мурый уже там. А мне сказал: «Сходи за Юрцом». Я ему говорю: «Сегодня суббота, он к бабке поедет». А он говорит: «Может, не поедет, сходи». Ты же поедешь, да?

После каждого предложения он громко шмыгал носом. Простыл, наверное. А ещё, говоря со мной, Петров совсем на меня не смотрел, всё его внимание занимала ветка. Он деловито превращал её в классную битую для нашей общей любимой игры. Старательно обламывал тоненькие веточки и снимал длинными лентами нежную кору. Кидал всё себе под ноги.

– Да, – вздохнул я совсем не по-детски, – еду к бабушке.

Именно сегодня мне не хотелось никуда ехать. Про назначенную на этот день игру я ещё с вечера знал, а сегодня как раз погода это позволяла. До этого почти всю неделю лили дожди и почему-то как раз к вечеру, когда мы уже были дома и с досадой смотрели в мокрые оконные стёкла, с неохотой делая за столом домашку. Сегодняшнее утро было замечательное вдвойне – оттого что не надо было идти в школу.

– Н-ну да, вижу, – он кинул взгляд на две матерчатые сумки, плотно набитые буханками чёрного и белого хлеба, которые стояли у моих ног. Я их охранял, пока отец выкатывал из сарая наш мотоцикл. – Жалко. Я же говорил Мурому. А он: «Давай, сходи за Юрцом...» – пробубнил Петров, явно выставляя напоказ свою догадливость и неразумность нашего друга Мурого.

– Да, жалко.

– Что ж ты сумки в пыль поставил, я их только постирала! – это мама моя. Вышла из дома в своём коричневом плащике и синем спортивном костюме под ним. Она всегда ездила к бабушке в этом спортивном костюме – он тёплый.

– Здравсьте, тётъ Нин, – поздоровался с моей мамой Петров.

– Здравсьте. И чего ты тут напоросячил, Серёжа?! – ответила ему она, грозно насупив брови и начав оббивать пыль со дна сумок.

Петров, стянув с ветки последний лоскуток коры, громко втянул соплю носом.

– Н-н-ну ладно, Юрец, пойду я, – и пошёл. В левой руке – белая палка со снятой корой, в правой – та самая кора. Убрал за собой Серёжа.

– Я завтра приеду. Вечером, – уже вдогонку крикнул я ему, снабдив свои слова интонацией одновременно надежды и сожаления.

– Я знаю, – палка со свистом срубила несколько листков с

ветки росшей за палисадником вишни.

В Черешенках везде росли вишни. Кто их здесь сажал и когда – наверное, никому это не было известно. Очень много вишнёвых деревьев – чьих-то и совсем ничьих. Навстречу Петрову шёл Лавреша. Его высокую, грузную фигуру трудно было не заметить. Он тоже нёс в руках палку. Толстый дрын, вернее, как всегда. Я махнул ему рукой, а потом пожал плечами: уезжаю, мол.

– Дрын-дын-дын...

Я аж вздрогнул! Это отец завёл наш мотоцикл и стоял рядом с ним, вытирая руки о грязную тряпицу. Запахло бензином и дымом. Хороший запах, он мне нравился. Отец очень любил наш мотоцикл. Да и мы тоже любили – я и мама. «Иж Юпитер» небесно-голубого цвета. С коляской! Я помню, мама как-то несколько вечеров сидела допоздна за ручной швейной машинкой, что-то шила из очень плотной ткани военного цвета. Что шила, не говорила. Отвечала лишь, загадочно улыбаясь: «Секрет», и прикладывала к губам указательный палец в железном напёрстке. Потом отец уже добавил свою долю загадочности. Он приволок откуда-то две длинные алюминиевые трубки и зачем-то гнул их дугой в сарае, пилил ножовкой по металлу, плющил концы и сверлил в них ручной дрелью дырки. Он тоже мне не пояснил, что делает и для чего. Лишь буркнул совсем не злобно: «Узнаешь».

И я действительно узнал. Такой день настал очень скоро, и мне не пришлось долго вязнуть в болоте неизвестности.

Секрет раскрылся осенью, субботним утром – как раз когда мы обязательно уезжали к бабушке в деревню. Я сошёл с крыльца нашей квартиры и направился к сараю. Начинался (вернее, продолжился) на короткое время прекратившийся дождик – мелкий, холодный, безумно противный. Я натянул капюшон своей куртёнки и поёжился: ехать куда-либо в такую нехорошую погоду, да ещё на мотоцикле, хоть я его и любил, мне совсем не хотелось. Я сильно капризничал, когда одевался, но не так, как маленькие дети, а по-другому, как уже немаленькие – без слёз и истерик, с добавлением к сотне раз повторяемому «не хочу» веских (как мне тогда казалось) аргументов.

Мама в ответ делала сочувственный вид и улыбалась:

– Ну ты же понимаешь, они нас будут ждать, – это она про бабушек и дедушку. – Мы им обещали, что приедем. И хлеб им купили. Как они без хлеба-то?

Я же ей на это объяснял, что они увидят дождь и догадуются, что мы не приедем, и что бабушка испечёт пироги, ведь она их любит печь, и хлеб им тогда не понадобится.

Но мама ещё добрее улыбалась мне и вкрадчиво говорила:

– Одевайся, сынок. Отец нас уже заждался совсем на улице.

И вот я на улице, под осенним дождём, сердитый, в руках холщовая сумка с пустыми стеклянными банками из-под бабушкиных закруток. Стою у нашего мотоцикла, втянув в неудовольствии голову в плечи, и смотрю на него. Смот-

рю-смотрю... А потом кричу, как сумасшедший или как самый счастливейший человек на свете:

– У-р-р-а-а!!! – и банки в сумке звонко стучаются друг о дружку.

Коляска нашего «ижака», в которой я всегда ездил, чудесным образом заимела себе крышу! Шикарный туго натянутый купол из той самой маминой секретной ткани военного цвета возвышался над ней.

– Тихо-тихо. Банки не побей. А то нам мать всыплет за них, знаешь как! Давай полезай в свою кабину, – сказал смеющийся отец и откинул наверх квадрат брезента сбоку купола.

Дверца в мою кабину! И я залезаю в неё, и странное, незнакомое чувство охватывает меня. Сколько раз я уже сидел в коляске нашего мотоцикла, в этом знакомом потёртом кресле? Сто, двести, пятьсот раз? Но в тот момент у меня было явственное ощущение, что это впервые. «Моя кабина! Кабина моего самолёта! Нет, кабина моего танка! Или кабина моего...» Мысли, мысли, мысли... Моё сошедшее с ума от радости воображение разыгралось не на шутку. Я уже был не здесь. В небесных просторах, среди танкового сражения, в подводной лодке в пучине океана, но только не здесь. Отец поставил мне на колени сумку с банками и сбросил сверху брезент. Внутри стало темнее, и мои восторженные ощущения ещё больше обострились. Передо мной было лобовое стекло с широкой полосой брезента по краю, сморщенного

в торце, как верх трусов, из-за вшитой туда резинки. Стекло служило передней аркой, на которую натягивалась ткань. И ещё было две арки. Одна, что побольше, – прямо надо мной, а другая, вдвое меньше, – сзади меня, за сиденьем. Обе они были сделаны из тех самых алюминиевых трубок, над которыми колдовал в сарае отец. По бокам мне ничего не было видно, только впереди. Только вперёд! Необычное ощущение. Я сидел и не дышал. Ждал в нетерпении, полный сказочного предвкушения, когда же мы поедем.

– Юрик! Ну как ты там? Хорошо? – это мама стояла впереди коляски в своём спортивном костюме, плащике и уже надетом на голову мотоциклетном шлеме с пластмассовым козырьком на кнопках. У меня такой же, кстати, и у отца тоже. Она махала мне рукой и улыбалась. Мокрые полосы от скатывавшихся вниз по стеклу капель дождя размывали её образ.

– Хорошо, – тихо-тихо и как-то протяжно произнёс я, скорее больше себе самому, и она не расслышала.

– Что говоришь?

– Хорошо! – уже громче, бодрее и убедительнее повторил я и подумал: «Какое же хорошее слово „хорошо“. В нём целых три буквы „о“».

В дверцу кабины просунулась мамина рука с двумя хлебными сумками и аккуратно поставила их в ноги, чтобы они мне не мешали. Потом внутри оказалось её красивое, в капельках дождя лицо. Она сказала, чтобы я крепче держал

банки, а то бабушки нам зададут, и поцеловала меня.

– Дрын-дын-дын... – мотор завёлся, и я поехал. Поплыл. Полетел... К бабушке.

Ох уж этот детский незрелый слепой неосмысленный эгоизм! Только спустя время приходит ясное понимание всего умопомрачительного размаха родительской любви, и сердце рассыпается на части благодарственными осколками. Бывает, что эти осколки зеркальными отражениями доносят свою запоздалую благодарность до адресата, но случается, что они острыми краями впиваются в болезненное тело совести, не застав в родительском доме уже никого. Сколько раз, вылезая из своей уютной тёплой и сухой кабины, я видел уставших отца и мать, мокрых насквозь, забрызганных грязью, промёрзших, но таких счастливых – оттого лишь, что я надёжно ограждён от их доли. Конечно, я был им благодарен и тогда, но по-настоящему лишь спустя много времени. Когда сам вдоволь напачкался, намёрзся, нахлебался.

Последний абзац – банальность? Возможно. Даже скорее всего да. Но случись такое, и неведомой силой моей оголённой фантазии перевоплотись эта банальность в кусок сливочного масла, я каждое утро намазывал бы им свой кусок хлеба толстым слоем. Это точно.

Второй образ. «Монгол Шуудан»



Я сидел у дома на корточках. Был босиком, и накалившийся от полуденного солнца бетон жарил мои ступни. Но мне было приятно это ощущение. Когда выскакиваешь без обуви летом на улицу из скучной прохлады дома, и тебя окутывает волной загустевшего от июльской жары воздуха, аж дух захватывает поначалу! А через секунду ты уже скачешь,

как перепуганный пленённый кузнечик в стеклянной банке, накрытой ладонью. С ноги на ногу, с ноги на ногу. Смеёшься и шуришься от яркого нового солнца. В детстве оно каждый день новое. Потом то ли кожа ступней привыкает к поначалу такому невыносимому жару, то ли каким-то способом она начинает вбирать в себя столько тепла, сколько сможет вытерпеть. А куда тогда девается остальное тепло? Непонятно мне совсем было это. Я сидел в одних трусах, без майки, и долбил ивовой веточкой по муравьям. Было у нас такое нехитрое занятие – долбить по муравьям. Причём оно как-то вполне себе успешно уживалось с другим, также не особо замысловатым занятием – кормить муравьёв. Кормёжка и долбёжка чередовали друг друга в неустановленном никем и ничем порядке. Что там срабатывало в мальчишеской голове, что внутри переливалось или пересыпалось одно в другое? Неизвестно. Но что-то такое обязательно происходило, ведь мы точно знали, чем именно нам в определённое время хотелось заниматься. Отломать от ивы или вишни тонкую гибкую ветку или начать ловить мух и лучше, конечно, зелёных, жирных. Если мух было ловить лень, а долбить муравьёв тоже не хотелось, тогда приходилось кормить их сахаром. Юркая маленькая ладонь то и дело тайно ныряла в большой мешок, стоящий в коридоре. Родители всегда, и не только мои, покупали сахар сразу целым мешком. Как только его содержимое наполовину убывало, мама объявляла об этом отцу, и вскоре он затаскивал в коридор новый мешок – полный. Ча-

сто я ему помогал, мы с ним ездили за сахаром на мотоцикле и вместе тащили тяжёлый мешок с крупным трафаретным словом «Сахар» и какими-то печатями на пухлых плотно набитых боках – сначала из магазина к коляске, потом из неё затаскивали в дом. Мне это занятие очень нравилось из-за того, что отец меня всегда благодарил и называл силачом. А ещё мне нравилось отцовским раскладным ножиком вспарывать верхушку нового мешка. Я даже ждал этого замечательного момента, в нетерпении проверяя, не закончился ли сахар в старом. И когда, не усмотрев, пропускал драгоценный для меня момент, и новый мешок начинала мама (отец мне сказал бы), сильно обижался. А она никак не могла понять этой моей обиды.

– Экая беда – мешок не разрезал, – в полном недоумении говорила она и качала головой в бигуди.

Ещё мной была замечена одна необъяснимая странность. Сахар в мешке пах, а когда им наполняли нашу фаянсовую сахарницу, разрисованную по кругу ярко-жёлтыми подсолнухами, уже не имел абсолютно никакого запаха. Совсем. Я раз шесть, наверное, бегал в какой-то из вечеров из кухни в коридор и из коридора на кухню. Всё нюхал, нюхал, нюхал. Не пах он, и всё тут, в сахарнице, хотя тот же самый сахар, а не какой-то другой, в мешке издавал очень густой сладковатый аромат с еле уловимой ноткой влажной мешковины. Это для меня так и осталось навсегда необъяснимым. Мама на моё «Почему так?» отвечала, совсем не задумываясь: «Не

знаю». Отец тоже. И тогда к моему удивлению примешивалось жгучее непонимание: «Почему их это совсем не заботит?»»

Я черпал слегка желтоватый сахарный песок и отправлял его в имеющийся карман, чаще всего в задний, что на трениках с лямками (самые тогда ходовые штанцы). Очень часто потом мама ругалась, перед стиркой выворачивая все карманы на всех семейных нарядах с обязательной методичностью. Мои, как всегда, были слипшимися. Словно специально кто-то зачем-то их заклеил. Сладкие остатки от муравьиной кормёжки в процессе пребывания в моих карманах под воздействием жары, воды и пота превращались в липкий сироп, который потом засыхал и, как очень даже неплохой клей, склеивал карманы вместе с их содержимым. И нередко там, в пещерах карманов, было погребено целое уличное богатство: дюжина копеечек, а то и пара десятков, алюминиевые шпонки для рогатки, гладкий морской камешек, огрызок химического карандаша, кусочек уже жёваного битума, какая-то красивая целлофанка с надписью на иностранном языке, цветные стёклышки из разбитой трубы калейдоскопа... Иногда там обнаруживались карты, за которые мне вдвойне влетало, и много чего ещё особо ценного. Мама с большим трудом выковыривала всё это моё, как она называла, барахло и небрежно кидала на пол. Наши ценности в этом вопросе с ней не сходились вовсе. Я, конечно же, сетовал на себя, если что-то не удавалось спасти: от сладкого

клея многое приходило в негодность. Так, однажды по собственной безответственной глупости я даже лишился настоящего сокровища – негашёной марки «Монгол Шуудан», где был изображён всадник с плёткой в длинном зелёном халате на коне, задравшем почему-то не передние, а задние ноги. Эх...

Муравьи сахар любили очень. Не знаю, может быть, даже больше, чем мухи. Я доставал его маленькими щепотками из кармана и бросал им на бетон перед домом. Они дружно налетали на него, каждый хватая своими цепкими клешнями по малюсенькому кристаллику, и быстро всё растаскивали. Тащили всё в одну сторону – в палисадник, под кусты разросшейся сирени. Там они ныряли в свои норки. Я давно изучил их маршрут. А ещё из тех норок время от времени выползали другие муравьи, покрупнее и с крылышками. Но странно: они совсем не летали, а ползали, как и бескрылые. Мы их называли почему-то королевами. Может, потому, что они казались нам такими ленивыми, что не могли даже пользоваться своими крыльями. А ещё они никогда сами не бежали за сахаром. Остальные муравьи им его подносили. Конечно, королевы.

В тот день я муравьёв не кормил. Я по ним долбил. Несильными хлёсткими ударами отправлял их на тот свет. Да, пожалуй, о том свете я и не задумывался совсем в том возрасте. Просто хлестал по бедным мурашам сверху вниз ивовым прутиком, и всё. Мне было интересно другое: как

они, муравьи, выносят с поля боя своих товарищей. Ах, до чего же смелыми и дружными были эти малявки! Ни одного не оставляли в беде. Они как-то безмолвно умудрялись оповещать об опасности весь свой муравейник, и уже несчётное количество маленьких храбрецов несло на выручку. И чем интенсивнее я долбил веткой, тем больше их становилось. Они меня восхищали! Наглядный урок мужества и настоящей дружбы от самой природы, преподнесённый маленькому мальчишке его же неосмысленным поступком.

– Что делаешь?

Я поднял голову, не прекращая своего занятия. Это был Славик Боков, он же Бокаша. Он жил в соседнем бараке и учился в одной со мной школе, только в параллельном классе. Стоял в своих старых сандалиях, на два-три размера больше, чем надо бы, тоже без майки, но в штанах – синих трениках с лямками внизу (как положено). Он очень аппетитно жевал горбушку чёрного хлеба, сверху обильно намазанную густой оранжево-жёлтой икрой из баклажанов.

– Ты что, гулять вышел? – спросил я, его же вопрос бесцеремонно оставив без ответа. Да и не нужен ему был никакой ответ. Он и так всё прекрасно видел. Всё мною устроенное муравьиное сражение на бетоне.

Бокаша уже сидел рядом со мной, но не на корточках. Плюхнулся прямо задницей на горячий бетон и продолжал жевать свой хлеб с икрой.

– Не, щас не пойду гулять. Не могу. Батя дрова скоро при-

везёт, разгружать надо будет. Сидим с мамашей, ждём.

Дрова в Черешенках – это отдельная история. Дрова и уголь. Трудно было достать и то и другое, а они были ох как нужны для наших картонных домиков. Чем-чем, а топором черешенские дети обучались владеть чуть ли не раньше ложки. Сарай всегда должен быть забит дубовыми и берёзовыми поленьями. Закон.

– Так у него же самосвал. Зачем разгружать? Подъедет и сам высыплет куда надо.

Бокаша глубоко сожалеюще вздохнул:

– Он не на своём ЗИЛу привезёт, а на батиним Пелёдика драндулете.

Отец Серёги Пелёдова возил людей на ГАЗ-66 с будкой.

– А что, батькова машина, сломалась?

– Нет, не сломалась. Он что-то объяснял там мамаше, но я ничего не понял. Замены-подмены.

– Понятно, – сказал я, хотя ничего понятного не было. Я долбил по муравьям.

Солнце уже ощутимо нажгло макушку. «Надо бы кепку сегодня надеть», – подумал я. Мысли в голове были грузными, как объевшиеся сочной травы коровы, к ногам которых ещё к тому же привязали по гире. Это всё жара. Лень даже было хватать этих медленно плывущих коров и превращать их в слова.

– Будешь? – Бокаша протягивал мне свой бутерброд.

– Давай, – сказал я.

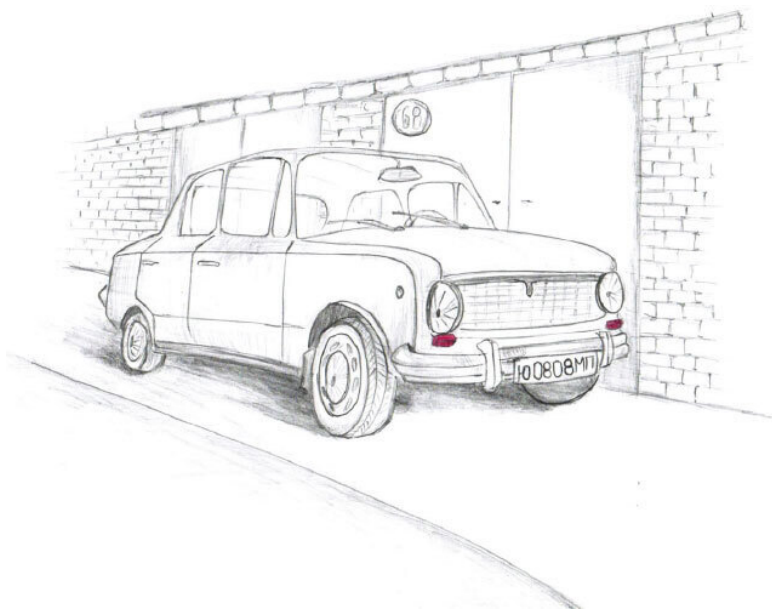
Он ещё два раза откусил от него, широко раскрывая рот, и протянул мне:

– Добивай.

Я уже не долблю по муравьям, ветку закинул в кусты к королевам. Сижу тоже на заднице рядом со своим другом и ем его хлеб. Вкусно.

– Мамаша вчера четыре банки принесла, – с плотно набитым ртом говорит мне Бокаша. Я с трудом понимаю сказанное. Это он про баклажанную икру.

Третий образ. Сосновые иголки



Отцы мальчишек, что жили в городе, там, где возвышались пятиэтажки, пропадали в гаражах. Городские мамы так и говорили: «Мой снова в гараже пропадает» или «Опять ты в своём гараже пропал!» В Черешенках гаражей не имелось, а были сараи, и здешние мамы в своих бесконечных причитаниях насчёт пропаж отцов меняли места координат. Гаражи – на сараи. Но суть не менялась совсем. Я не понимал эти мамины выражения. Как это отец «пропал», если известно,

где он?

А почему гаражей не было? Так потому что машин своих не было. Ни у кого. Первые машины начали появляться значительно позже, и их счастливые первообладатели вырубали кусты сирени на окраинах Черешенок и ставили там железные коробки с покатой крышей. Это и были первые гаражи. Новое место пропажи для черешенских отцов. У нас тоже появился такой, когда купили беленькую. Отец на своём самосвале привёз как-то в обед полкузова щебёнки, скинул с кузова широкую совковую лопату и велел мне ею разбросать ровным слоем всю эту кучу.

– От сих и до сих, – указал мне отец, шагами обмеряя прямоугольную площадку.

Я разровнял её, пока он обедал, и был вполне доволен результатом. Как мне казалось, очень хорошо получилось. И отец спустя почти час, ковыряя в зубах заострённой спичкой, раскрасневшийся после съеденной глубокой тарелки горячих щей, тоже похвалил меня. Но зачем-то взял у меня лопату и ещё минут десять перекидывал с места на место гранитные камешки.

Я спросил отца:

– А зачем это, пап?

Он ответил:

– Узнаешь.

Потом он уехал на работу, а мне велел следить, чтобы, как он выразился, «друзья мои» (имея в виду, конечно же, не

только лишь именно моих друзей, но и вообще всех мальчишек) не растащили щебёнку. А они бы растащили! Запросто! Как те муравьи у моего дома сахар. По камешку растащили бы. Быстро и дружно. Только лишь узнали – тут же налетели со всех сторон. Зачем им нужны камни? Ну вы, блин, даёте! Да чтобы кидать! Во что или в кого? Нужную цель мальчишка всегда и везде найдёт. На той же рядом расположенной помойке валялись целые залежи стеклянных бутылок и банок, которые не подлежали сдаче, и из-за этого люди их выкидывали. Вот вам и шикарные цели для метания по ним камнями.

Я остался следить за щебёнкой. Конечно же, я не стоял строго не шевелившимся солдатом, как постовой на одном месте. Можно сказать, я и не находился на том посту очень уж много времени. Я играл с друзьями на неподалёку расположенной территории маленькой военной части – на точке (одно из самых любимых наших мест). Но я не забывал данное мне отцом задание и с определённой периодичностью бегал и внимательным взглядом прощупывал мною выровненную площадку под неизвестно что, – не свистнул ли кто хоть один камешек.

Вечером отец не пришёл пешком, как всегда, а приехал на машине. Но не на своей, а на чужой и даже не на одной, а на целых двух. Одна была с краном. «Галичанин», – прочитал я на ещё сложенной жёлтой стреле. Другая машина называлась КрАЗ – большая, бортовая, на её кузове находился

громоздкий короб из ржавого металла, одну из сторон которого занимали двустворчатые двери во всю ширину. Спустя час короб с помощью «Галичанина» был водружён на подготовленное в обед ровное место. Отец, вспотевший и взволнованный, руководил всем процессом. «Наверное, он опасается, не порвались бы тросы», – так думал тогда я, глядя на его мокрый нахмуренный лоб, и от этого тоже вспотел. Народу вокруг собралось тьма. В Черешенках творилось что-то новое.

Вот так у нас появился личный гараж. На следующий день у меня уже было другое отцовское задание. Я окунал широкую кисть в круглую банку с очень вонючей краской и старательно водил ею по ржавому железу. Вечером мы все втроём – я, мама и отец – стояли в линеечку, освещённые закатным красным солнцем, и смотрели на гараж – на наш. Он был тёмно-зелёный. «Как сосновые иголки», – подумал я тогда. Что подумали мама с отцом, я не знал. Внутри стояла наша беленькая. На дверях висел большой навесной замок.

В сарае пропасть было ну никак нельзя, он был очень маленьким. И этот неоспоримый факт также добавлял остроты моему недопониманию маминого выражения. Сколько раз, играя на улице в казаки-разбойники или прятки, я пытался найти тайное убежище в сарае, если тот был открыт. Но меня всегда там находили. Да и больше того – отсутствие замка на дверях сарая служило отличной подсказкой, что, возможно, здесь и стоит поискать. Не выходил этот фокус и у

других моих друзей. Однажды только одному Мурому удалось оставить своё место укрытия неразгаданным. Но чего это ему стоило!

В глубине всех сараев обязательно находилось отгороженное куском фанеры или железа небольшое пространство. Оно служило местом для хранения угля. Вот там-то и спрятался Мурый.

Мы были разбойниками и убегали всем скопом от казаков. Ещё издали Мурый заметил, как, выходя из сарая, отец Олега Немого не навесил на двери замок. Тогда он осмысленно прибавил ходу и скрылся внутри за заскрипевшими дверями. Когда мы поравнялись с тем сараем, от всего скопа оставались только я и Лавреша. Все остальные рассыпались по дороге кто куда с уже заготовленными в головах планами своего спасения. Мы с Лаврешей таких планов не имели и убегали просто наугад – вперёд.

– Помогите, ребя! – в проёме приоткрывшейся двери появилась чернявая голова Мурого и звала нас к себе.

Мы, опасливо кинув взгляд на барак, где жили Немой и его отец, шмыгнули в сарай. Там Мурый штыковой лопатой уже вовсю готовил своё убежище – делал прямо в угле схрон. Лавреша быстро смекнул, что к чему, и, схватив ещё одну лопату, тоже принялся рыть. Моя сметливость была ничуть не хуже лаврешинской, но мне не досталось лопаты, и я стоял на тазах, выглядывая на улицу в узкую щель меж двух рассохшихся дверных досок, – сёк обстановку на улице.

– Всё! Давай ныряй первым! – услышал я за своей спиной запыхавшийся голос Лавреши.

Мурый и нырнул. Очень даже удобно он помещался в вырытой ямке, сидя с подтянутыми к подбородку коленями. Но дело в том, что места там больше не оставалось ни для меня, ни для Лавреши. А необъявленный план наш был именно такой – спрятаться всем вместе. Сколько они ни пыхтели, копая уголь, большого углубления так и не получилось. Уголь предательски скатывался обратно вниз с образовавшихся по бокам валов и никак не хотел идти с ними на сговор.

– Давай закапывать, – сказал Лавреша и досадливо сплюнул на пол густую чёрную слюну.

– Подожди, – сказал я, снимая с руля подвешенного к потолку металлическими крюками велосипеда какую-то замусоленную тряпку. Ею оказалась небольшая часть старой ночной рубахи, в каких спали тогда все мамы. У моей была такая же, даже расцветка совпадала. Я накинул найденную ночнушку Мурому на голову, и Лавреша очень быстро его закопал.

– Нормал? – спросили мы уголь, в котором прятался наш друг.

– Нормал, – глухо отозвалось нам в ответ.

Нас с Лаврешей поймали самыми первыми. Мы даже не успели далеко отбежать от того самого сарая. Казаки не очень туго стянули какими-то шершавыми верёвками наши руки за спинами и оставили в качестве охранника одного из

братьев Пелёдики (того, что Лёха). Он нас долго допрашивал. Мол, «Назовите ваш пароль!» и «Где прячутся остальные?! Отвечайте, а то расстреляем!» – и грозил нам деревянным автоматом неведомой конструкции и марки.

Мы молчали. Совсем как партизаны из кино про войну. А они-то были для нас тогда настоящие авторитеты. Сильные бородатые дядьки из леса с ППШ на широком плече. Ух! Что касемо пароля, то даже если бы и завелась в наших рядах в тот день вша предательства, так и она не смогла бы его назвать, даже если бы и хотела. Как-то всё слишком сумбурно получилось ещё в самом начале. Вся наша банда молниеносно разбежалась после объявления начала игры и совсем забыла его загадать. Мы видели с Лаврешей после того как нас поймали, что двое казачков с соседней улицы – Заяц и Паша Егоров – выходили из сарая, где мы закопали Мурого, и отрицательно качали головой остальным: «Никого». Мы загадочно улыбались.

Спустя какое-то время вся наша разбойничья шайка была почти полностью обезврежена. Не поймали только одного Мурого. И казаки, и разбойники стояли все вперемешку, смеялись и рассказывали, кто где прятался и как кого нашли.

– Если Мурый за зону убежал прятаться, это не считается, – сказал насколько это было возможно подчёркнуто строго Кралин. Он был у казаков командиром. Перед игрой обязательно оговаривалась зона, где можно было скрываться, а где запрещалось.

– Не зашёл! – в унисон выкрикнули мы с Лаврешей и снова довольно и загадочно заулыбались.

– Что, сдаётся? – это уже невозможно серьёзничал наш главарь Медведь (Серёга Медведев). Он был нами, конечно же, осведомлён, где прятался последний разбойник, и теперь, так как казаки его не смогли найти, склонял их сдаться.

– Тогда место нам покажете, – подумав, сказал Кралин.

Медведь тоже подумал. Но мы же выиграли. Игра и так как никогда затянулась, да и есть жуть как всем хотелось – набегались.

– Ладно, – сказал он и заорал громко в небо: – Мурый, выходи! Они проиграли!

Мы трое, кто знали, откуда должен появиться пропавший, повернулись в ту сторону. Следом за нами и все повернулись туда же.

Из-за угла появился он. Что набрасывал, что не набрасывал я на голову Мурого ту ночнушку, от вьедливой угольной пыли она его почти не спасла. Чёрный он был от пяток до бровей, словно не сидел смирно в угольной куче, а барахтался в ней. Перепачканный, как трубочист, но безумно счастливый шёл нам навстречу наш друг и широко улыбался. Белизна зубов его на чёрном фоне казалась каким-то нелепым недоразумением.

Кто тогда первый закричал: «Тазы!», Лавреша или я, не помню. Но подействовал этот безудержный и внезапный крик, означающий приближающуюся опасность, совсем не

на того, кому он был предназначен. Половина всей нашей когорты кинулась врассыпную кто куда. (Мальчишкам нельзя расслабляться! Мальчишки всегда на взводе! Слишком много у мальчишек врагов!)

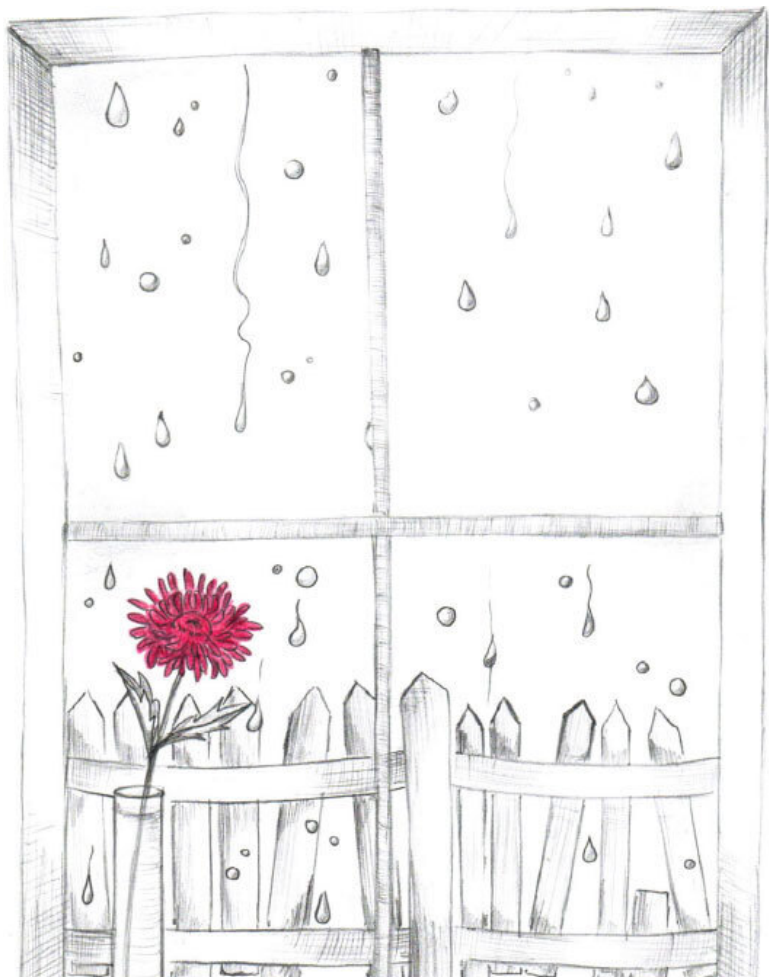
Счастливый Мурый расслабился и поплатился за это. Спустя мгновение его уже держал за чумазое ухо отец Олега Немого. Теперь и нам пора было давать дёру.

Мурого потом два дня не пускали гулять. Мы подходили к его дому, а он отрицательно мотал в окно головой и, повернувшись, показывал нам свою спину. Вдоль неё сочным розовым цветом красовались несколько свежих отметин от скакалок. Это мы точно знали, что от скакалок. Одной из часто обсуждаемых нами была тема «Родительские предметы и методы наказания». Мы знали об этом всё и почти каждый день добавляли новые знания по этой теме. Кого на какое время лишали улицы, про пытки чтением толстых книг «отсюда и досюда», из какой кожи сделан ремень у того или иного отца, какая на нём пряжка и сколько раз он им охаживает и по какому месту, у чьей мамы тяжелей рука и уж про совсем позорный для нас, гордых мальчишек, пресловутый угол – лучше уж всё остальное. Мурого наказывали изысканно – красными резиновыми скакалками его младшей сестры.

Отец Немого сначала заподозрил, что у него что-то стащили. Но, не выпуская из своей руки ухо Димаря (Мурого звали Дима) он проверил все свои потайные углы, ящики с инструментами и убедился, что всё на месте. Бардак в сарае,

оставленный нами после себя (хоть впопыхах и казалось, что мы всё делали аккуратно, пол всё же был весь усыпан углём), тоже остался бы незамеченным дядь Борей (так звали отца Немого) и им в вину нам не ставился бы. Но, как назло, мимо сарая проходила мать Мурого. Она возвращалась с работы и сквозь широко раскрытые двери увидела, что в чужом сарае её родного сына держит за ухо сосед (все были в Черешенках соседями друг другу, даже если жили на разных концах района). Увидела и сразу зашумела: «Это что такое!!!», ничуть не вкладывая в свои слова вопросительной интонации. Одно лишь слепое материнское негодование. И дяде Боре пришлось всё выложить, уже защищая самого себя. А так-то он хороший, Немого отец. Просто случайность погубила нашего Мурого.

Четвёртый образ. Астры Томсона



И этому дождю тоже пришло время закончиться. Эх, как же он хлестал! Я подозвал маму к освобождённому от штор окну и, указав на стекло, произнёс восхищённым голосом, сдобренным ноткой детского удивления:

– Смотри, какой дождь жирный! – мой палец змейкой заплясал по гладкой поверхности.

– Почему жирный? – спросила она меня, глядя в окно.

– А какой же?! – ещё больше удивился я.

От самой каменной отмостки нашего барака до низенького деревянного забора весь палисадник мама засадила астрами. Она очень любила эти цветы. «Астра – королева сада», – много раз я слышал это от мамы. До того любя так она говорила, подолгу возившись с цветами – сажая, пересаживая, каждый вечер поливая их, выдёргивая сорную траву меж кустов, – что они в моём воображении ненадолго обретали человеческую душу и представляли во всём своём наречённом мамой величии.

– Вон те – королевы, мам, – указывал я на высокие, мне по плечо, ярко-жёлтые, крупные соцветья, которые строгим, как по линейке, рядом окаймляли с трёх сторон наш палисадник. – А эти пока ещё только принцессы, – широким жестом обеих рук обводил я центр цветника. Там росли астры, доходившие мне лишь до пояса, до колена и совсем липуты, еле возвышавшиеся над землёй, с маленькими цветками-бутончиками.

– Ах, принц ты мой, выдумщик, – хохотала мама и брыз-

гала в меня тёплой водой из лейки. Живые волны нашей общей искренней радости пробегали по разноцветным лепесткам почти физически ощутимыми колебаниями. Наверное, в такие моменты цветы тоже смеялись вместе с нами. Палитра расцветки просто поражала. Жёлтые, красные, розовые, фиолетовые, синие и ещё десятки оттенков этих цветов и их сочетаний. Все астры были разных сортов и имели замысловатые названия. Мне почему-то запомнился сорт «Астра Томсона». Я всё допытывался у мамы, кто этот самый Томсон, где он живёт и почему астра именно его. Но мама не имела ответа. Как, впрочем, не находилось у неё что ответить и на многие другие мои вопросы. «Не такие уж эти взрослые и умные», – думал я. Подходить с «Томсоном» к отцу я даже не собирался. Я заранее знал его ответ – поднятая молчаливая бровь над левым глазом.

Так выходило, что палисадник наш цвёл с ранней весны до поздней осени. Один сорт отцветал – зацветал другой. Этот чудесный цветник был маминой гордостью. Ей часто приходили по почте маленькие пакетики с семенами. Каждая такая маленькая посылка была для неё большим праздником. Даже щёки у неё становились розовыми от счастья.

– Новый сорт! – торжественно объявляла она, потряхивая крошечным гремучим пакетиком под самым потолком.

Отец на это почему-то всегда молча поднимал бровь над левым глазом. Ну это вы уже знаете. Всё, что касалось цветов, его не касалось. И он всегда одинаково реагировал, если

кто-то затрагивал эту тему. Слепому поклонению пестикам и тычинкам не доставалось места даже на самой отдалённой галёрке и на чердаке его мировосприятия.

Дождь и вправду казался каким-то жирным. Обычно вниз по глади стекла скользили быстрые маленькие капли. Но в этот раз волны бушевали на прозрачной поверхности. Сильный ветер дул в сторону нашего дома и целые потоки обрушивал на его стены и окна. Я вглядывался сквозь стекло на улицу, но ничего не мог там рассмотреть. Всё потеряло свои очертания. Всё размазалось, растеклось. Оставались нетронутыми только цвета. Не мог рассмотреть я и мамины астры. Стекло было как будто вымазано чем-то бесцветным, но очень жирным. Квадрат палисадника напоминал мне одну из тех картин, которые малюют совсем уж маленькие детишки, хватая без разбора все краски подряд и ляпая кистью по бумаге то тут, то там, пока не закрасят все белые места. Ещё такие картины я как-то видел по телевизору, но их рисовали уже взрослые. По моему мнению, странные взрослые. Может быть, даже очень несчастные. «Наверное, в детстве у них совсем ничего не было для рисования. И теперь, когда они уже сами могли себе купить и краски, и какие хочешь кисти, их одолевала потребность рисовать именно то, что не было ими нарисовано давным-давно», – так я думал о странных взрослых и их «детских» картинах. За стеклом образовалась этакая многоцветная живая мазанина под проливным дождём. Хаос цвета, ограниченный прямоугольником окна. Мне бы-

ло хорошо знакомо это слово – хаос. Так отец называл мой письменный стол, стоявший в углу зала, за которым я делал школьные домашние задания. Хаосом, конечно же, был не сам стол, а то, в каком порядке, а вернее, беспорядке находились предметы на его поверхности.

– И как ты только умудряешься найти что-то в таком хаосе? – скорее не спрашивал, а укорял меня отец. Правда, делал он это совсем не зло – так, лишь бы до меня долетели его слова, как игривый пендель.

И только когда в моё ухо внезапно из-за спины залетало, как нахальная муха, это слово, я его сразу же начинал видеть – мой хаос. Прозрение было моментальным. До того мгновения хаос от меня надёжно прятался. Удивительное дело! Не правда ли?

Через какие-то две молниеносные минуты при помощи правильно выстроенной архитектуры из чрезвычайно ровненьких стопок учебников, тетрадок и альбомов для рисования, а также отправленных по своим местам (в обёрнутый фольгой гранёный стакан и деревянный пенал с наклеенным котом Леопольдом) ручек, карандашей и наполовину засохших старых фломастеров на столе воцарялась гармония. Это слово я тоже знал. Правда, время от времени. Больше мне как-то дружилось с хаосом.

– Всё нормально, мам! Все целы, – я уже был на улице. Стоял напротив нашего дома за заборчиком с капроновой сеткой в одной руке и запиской в другой. Мама всё так же

была у окна на кухне. Мы оба с противоположных сторон смотрели на одно и то же – на наши астры. Я – через деревянные редкие штакетины с облупившейся синей краской, мама – сквозь мокрое, но уже не «жирное» стекло. Ветер и ливень смогли только лишь пригнуть наши цветы к земле. Жёлтых «королев» – посильнее. Сломанного стебля я ни одного не увидел. Худенькие милые «принцессы» не поддались стихии. «Лилипуты» тоже были в порядке. Я заметил несколько перепуганных букашек, выбиравшихся из-под тёмно-зелёных листков. Угроза миновала.

Мама махнула мне рукой – мол, иди уже. За её спиной появилось заспанное и что-то жующее лицо отца. Поднял ли он бровь над левым глазом, я уже не видел.

Сквозь крупные ячейки авоськи красовались своими зеленоватыми боками шесть пустых молочных бутылок с широким горлышком. Они слегка позвякивали в такт моим мелким шажкам. На клочке картонки, оторванной от квадратной упаковки «Геркулеса», в столбик при помощи простого карандаша, дежурившего в маминой книге рецептов, было аккуратным женским подчерком написано: «Два кефира. Четыре молока. Батон. Полбуханки чёрного. Лаврушка. Спички – 5 кор.».

И чуть ниже под косой чертой: «Валь, продай Юрику спички, пожалуйста. Нина».

Меня послали в магазин. Единственный он был во всех Черешенках, находился недалеко от нашего барака. В об-

щем-то всё в Черешенках находилось недалеко друг от друга. Поэтому-то там и были все друг другу соседями.

Я бодро топал по мокрой бетонной дорожке. Завидев впереди себя лужу, брал разгон и лихо перемахивал через неё лучше всякого горного козлёнка. Воздух после дождя был чудо как свеж! А ещё давила на уши непривычная тишина. После нескольких часов непрекращавшейся монотонной долбёжки крупных и частых капель по шиферу барачной крыши все звуки мира словно умерли. Мне казалось, что я был самый первый, кто очнулся от гипнотического шума дождя. Шарканье и хлюпанье моих подошв солировали в мёртвой тишине. А ещё – стук моего сердца. Начиная с середины моего пути начали появляться люди. Точно как те букашки из-под листков астры, они выползали из своих укрытий – кто из квартир, а кто и из сараев (кого где ливень застал). Вслед за людьми освободилось из плена сбежавших туч и солнце. Маленькими бриллиантиками тут же засверкали тысячи небесных капель, повисших на чём только можно было. Послышалось пение первых птиц.

По пути я помог тёте Зине. Тётя Зина была хорошая. Жила она у самого магазина, в таком же точно бараке, как и мы, но была совсем одна. Мужа у неё не было, а единственный сын уже давно сидел в тюрьме. Я его никогда не видел. Да так никогда и не увидел «Кирилла её непутёвого», как называла его моя мама. А ещё у неё была только одна рука. Она всегда носила платья только с длинными рукавами. Один из

них был наполовину пустым. Я узнал от отца, как она руку потеряла.

– В станке закрутило, – рассказывал он мне о том несчастном случае, когда тётя Зина была ещё молодой и работала где-то на Севере на большом заводе.

– А как это – «в станке закрутило»? – с широко раскрытыми глазами удивлённо спрашивал я.

– А вот так. Брр-р-р-р, – громко бренчал отец, неумело имитируя звук работающего станка и ладонью с выставленным указательным пальцем чертя в воздухе быстрые круги.

Тётя Зина проморгала начало дождя, а когда опомнилась, было уже поздно – он стоял стеной. Вывешенное сушиться бельё, недавно ею постиранное, так и осталось висеть цветными парусами на улице под сумасшедшим ливнем. Вот это бельё я и помогал собирать тёте Зине, но только уже с земли. Верёвки не выдержали сильных порывов ветра. (Затонул парусный корабль.)

– Что же, теперь опять всё стирать? Да, тётя Зин? – наивно и глупо спросил я, бросая в большой алюминиевый таз перепачканные вещи. Такие вот детские вопросы. Но как мало ещё видел я всяких несчастий и горя! У меня просто не было большого опыта, и мне неведомо было, что в таких случаях полагается говорить, чтобы успокоить и поддержать человека. А мне так хотелось поддержать её, успокоить! Тётя Зина, со всею своей одинокостью, со своими известными и неизвестными болячками, была, наверное, самая добрая тётя.

тя во всех Черешенках. Во всяком случае для нас, мальчишек. Кто ещё выносил на улицу вкусные горячие пирожки с капустой, яблоками, яйцами и зелёным луком на огромной тарелке и кричал нам «Налетайте!»? У кого ещё всегда находилась «случайно» конфета при встрече с нами? У кого ещё можно было одолжить до следующего выходного десятник на мороженое? И кто его, не задумываясь, нам давал?

– Не переживай. Ничего страшного. Прополоснуть только и всё. Ох-ох, ветряка этот. Ну ничего. Земле зато хорошо – всю улило. Ей влага всегда нужна, – тихо приговаривала тётя Зина.

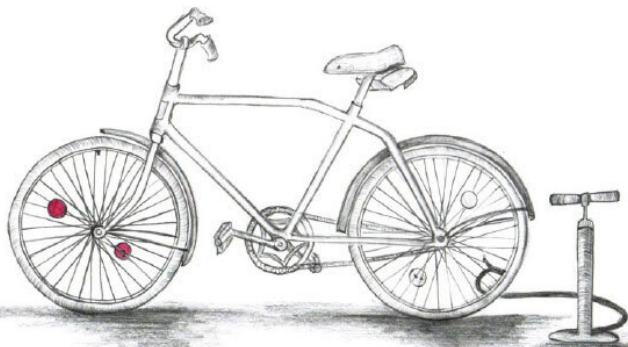
Вот так. Успокоить я её хотел, а вышло так, что она успокоила меня.

Авоська заметно потяжелела от закупок, выполненных строго по списку. В карманах тихо погромыхивали спички в деревянных коробках, во рту перекатывалась выданная мне в качестве благодарности тётей Зиной мятная карамелька.

«Надо отдать сумку дома и быстрее бежать к Лавреше. Мы вместе с ним натаскаем воды тёте Зине для полоскания. Чё там – по три раза сходим к колонке и готово!» – так думал я, спеша из магазина.

То ли ранняя весна была в это время, то ли поздняя осень, а может, и середина лета, точно не могу сказать. Не помню я, а врать мне совсем не хочется.

Пятый образ. Днепрогэс



Восемь спичек достал Лавреша. Целых восемь! Было воскресенье – выходной № 2. Яичница, чай, вельветовые домашние тапочки, расшторенные окна, «Спортлото». Пока его мама с отцом сверяли у телевизора свои «снова несчастливые» цифры на лотерейных билетах, Лавреша добывал нам спички.

Головки на них оказались с зелёной серой (почему-то тогда считалось, что такие лучше горят). Чересчур уж стараясь не издать никакого подозрительного шума, он всю орудовал на кухне. Из коробок с картинкой Днепрогэса выгреб ровно столько зелёноголовочных, сколько позволяло, на его опытный взгляд, после не заметить никакого их численного уменьшения. Он несколько раз открыл и закрыл коробок,

прикинул, взвесил и в итоге вернул пару спичек на место. Порядок. С настенного отрывного календаря сорвал субботний листок, до которого ещё не успела добраться родительская рука. Неумело скрутил из него миниатюрный кулёчек и всыпал вовнутрь из стеклянной солонки крупную темноватую соль. Всыпал столько, сколько помещалось и позволяло завернуть верх кулёчка. С солью опасаться не стоило совсем. Было её хоть весь засолишь. Ну всё. Его часть задания была успешно выполнена. Теперь стандартное: «Мам, я гулять пошёл» и не более оригинальное в ответ: «А ты у отца спросил?», или вообще классика: «Смотри, недалеко! А то голову оторву». Безголовых, кстати, я никого за всё время в Черешенках так и не увидел.

Путь наш лежал во вторые посадки, и было нас четверо: я, Лавреша, Лось и Мурый. Кожу моего живота холодили десять больших немых картошин. Холодок разбегался по всему телу, даже руки были в мурашках. Частью моего задания были именно они, и я его так же, как и Лавреша, успешно исполнил. Утром я сам вызвался помочь отцу достать из погреба солёные помидоры. Он любил их, наверное, больше, чем я мороженое, и лакомился ими каждый день, в отличие от меня, ощущавшего на языке вкус любимого пломбира совсем не часто. Свои любимые помидоры отец засаливал сам. В небольшой дубовой бочке, с хреном, чесноком, смородиновыми листьями и ещё какой-то вонючей, как мне казалось, травой. Получались они, на мой вкус, слишком ядрёными.

Я больше любил мамины, из трёхлитровых банок. Они были сладенькие.

Погреб наш находился прямо в квартире, под скрывающим лаз коридорным половиком. В нём прятались от вредного для продуктов тепла все наши съестные запасы. Целые батареи маминых закруток выстраивались по всем деревянным полкам, умело изготовленным отцом. В этом же ледяном подzemелье хранились и нужные мне клубни. Я заправил майку в трусы и накидал грязные картошины прямо себе за пазуху. Теперь можно было и в строй.

Рядом со мной маршировал Мурый, неся под мышкой завёрнутый в пожелтевший «Строитель коммунизма» красный кирпич. Лось был нашим поставщиком сырья. Мы шли плавать свинец.

А началось всё ещё вчера и совсем уж не грандиозно – с помойки. Мама заставила меня вынести ведро из-под умывальника. И я, с привычной оттяжкой, чтобы не забрызгать собственные штаны, выплёскивая мерзкое содержимое в большую вонючую яму, вдруг заметил прислонённый к кусту сирени велосипед Лося.

Лося звали Лёха, и жил он в частном секторе, также принадлежавшем Черешенкам. Там тоже были мальчишки. Но с ними у нас складывались странные отношения. Они нас называли бараковскими. Мы же их никак не называли, но интуитивно чувствовали какое-то различие между нами. Обе стороны то пламенно дружили, то как будто ледяной айсберг

возникал на границе их кирпичных домов и наших деревянных бараков. На тот момент айсберг был растаявшим, но от него оставалась глубокая лужа, и высохнуть она пока никак не хотела.

Первая мысль у меня появилась такая: «Надо по-быстренькому снять у Лося пару катафотов и выкрутить с колёс хотя бы один ниппель». В том, что велосипед принадлежал именно Лосю, я вообще не сомневался. Уж что-что, а какой у кого велик, знали все мальчишки досконально. Целую миллицейскую картотеку по велосипедам вмещала в себя голова любого оболтуса: цвет; марка (правда, с марками было тогда негусто); конфигурации рулей, которые выгибали сильно кверху, а то и, наоборот, разгибали почти до горизонтали; количество катафотов; цветная проволока, красиво вплетённая в спицы (особый шик); наличие (или отсутствие) звонка, багажника, крыльев; самодельные мягкие сиденья из дерматина, набитого поролоном; антеннки из калёной проволоки с пластмассовыми розочками на концах. Все бесчисленные приметы были записаны в этой базе данных. Встречались и вовсе уникальные экспонаты, собранные практически из металлолома, но какие были красавцы! У Лося была вся увешанная катафотами, как новогодняя ёлка, взрослая «Десна» тёмно-синего цвета с ядовито-жёлтым передним крылом. Я собирался ей сейчас навредить, ну и Лосю, конечно же. Ведь он забрался в святая святых бараковских – на нашу помойку. Она действительно была для кого-то только помойкой, но не

для местных мальчишек. Для нас она была настоящим Клондайком. Время от времени в нашей среде менялись вкусы и увлечения. Точно так же, как и у взрослых. Но, в отличие от них, у нас совершенно отсутствовала покупательная способность. В плане покупок мы могли себе позволить разве что шиш, да и тот без масла. Десять копеек на пирожное в школьном буфете да пара медяков, как бы случайно оставшихся от выуженной из кармана магазинной сдачи – вот и весь наш капитал. Не были мы уже голопузыми малышами, и покупалось нам родителями теперь лишь самое необходимое. Цветные картонные упаковки из магазина «Игрушки» со всякими увлекательными разностями вскрывались в наших квартирах только на Новый год, в дни рождения и когда приезжали издалека родственники. Да, мы не нуждались уже во всяких погремушках и кубиках, но железные модели автомобилей и сборные макеты самолётов, танков, кораблей, которые нужно было склеивать, нас манили. Пластмассовые автоматы и ружья, револьверы, стреляющие пистонами, наборы солдатиков (краснокожих индейцев и их неизменных врагов – ковбоев в шляпах), настольные игры-бродилки, в которых были вечно теряющиеся, а потому и драгоценнейшие кубики с точками на боках, да и много что ещё будоражило нас и вносило беспокойство в наши неокрепшие умы своей недоступностью. Всему этому приходилось искать хоть отдалённо похожую замену, и мы её находили. В том числе и на черешенской помойке. Жестяные банки из-под

консервов для любимейшей игры «Баночки» постоянно гнулись от ударов по ним деревянным битком – приходилось всегда обновлять их. Пустые баллоны от дихлофоса или лака для волос, взлетающие с визжащим звуком высоко в небо от жара костра, который мы разводили в дальней берёзовой роще или в обожаемых нами придорожных посадках (только именно во вторых). С дихлофосным баллоном была забава ещё интереснее. Вся мальчишеская рать моментально прознавала, если где-то черешенские мужики ведут сварочные работы. Тогда она держала ушки на макушке. Надо было не прозевать момент, когда сварщик опорожнял в конце своих дел карбидовый баллон. Уличить момент, когда никто не видит, быстро подбежать и выудить из шипящей лужицы уцелевшие камешки – такой был план у сорванцов. Заветные кусочки сухого карбида бросались в дихлофосный баллон, который перед тем слегка модернизировался. Верхняя его часть, куда вставлялась пластмассовая кнопка-пимпочка, при помощи имеющихся под рукой нехитрых инструментов удалялась. В боку или днище толстым гвоздём пробивалась дырка. Вот и весь незамысловатый тюнинг. Вдогонку к карбиду внутрь летел смачный плевок. Баллон хорошо трясли, заткнув ладонями отсутствующую верхушку и малое отверстие. Потом к маленькой дырке подносился огонь. И – бах!!! Порой бахало очень даже громко. То тут, то там начинали раздаваться знакомые хлопки. И какой-нибудь внимательный человек давно уже выявил такую закономерность:

«Пацанята шалят со своими пукалками – значит, в Черешенках кто-то свой мотоцикл подваривал, или калитку, или ещё что-нибудь по хозяйству».

Также в костре очень классно разрывались куски шифера. Получались целые зенитные залпы, раскидывающие во все стороны горящие дрова.

Искали на помойке одно время пузырьки из-под духов, одеколонов, шампуней и всяких там огуречных лосьонов. И это были не просто поиски, а настоящая неистовая охота. Заветной добычей была не сама стеклянная тара, а только лишь колпачки от неё. Наверное, слово «колпачки» казалось слишком длинным при уличном общении, и его заменили на короткое, как выстрел, «пробки». Так и пошло в разговорах: «Айда пробки искать!», «Ух ты, какая у тебя пробочка!», «Не будешь ты в пробки с нами играть! Ты жилишь».

Неизвестно, откуда залетело к нам это увлечение (как, впрочем, и все остальные, что появлялись в наших кругах, не указывали точного своего происхождения), но оно всех нас быстро заразило, как грипп или ветрянка. Из пробок составлялись шикарные коллекции. Каждая пробка, в зависимости от формы, размера и окраски, имела свою цену, название и определённое количество жизней во время игры. Правила игры в пробки менялись чуть ли не каждый день. Выбивалки (только руками или лишь ногами), замысловатые подкручивания, строительство пирамид (кто выше), использование для игры плитусов на школьных переменах,

какие-то ямки, бугорки, стеночки, искусственно возводимые в качестве препятствий. Пробочное безумие тогда поразило всех. Наивная детвора превратилась в азартных игроков и алчных менял. Мальчишки важно ходили с полными карманами колпачков, у кого-то были даже полотняные мешочки – специально для их «богатства».

Цветные «слоники» (синие, оранжевые, фиолетовые); пузатые «глобусы»; важные «генеральчики»; серебряные «купола»; большие золотые «короны» и маленькие белые «коронки»; «дамки» с задранными кверху насечёнными «юбками»; сделанные из латуни, совершенно бесценные и очень тяжёлые «ангелы» и даже обычные, совсем дешёвые, из-под тюбиков от зубной пасты «крысы» и «офицеры» со своими пиками внутри – вся эта пробочная армия поселилась тогда в детских умах. Она овладела ими.

Те же запчасти для своих великов, бывало, тоже редко, но находили на помойке. Может быть, даже знаменитое (такого цвета ни у кого не было) жёлтое крыло на велосипеде Лося было тоже оттуда.

В моём кармане уже лежало два катафота – красный и жёлтый, и я откручивал зелёный – для завершения светового трио. Меня, конечно же, смутило отсутствие самого Лося, но когда я выждал целую минуту, у меня отчего-то появилась (правда, ничем не подкреплённая) уверенность, что и в следующую минуту, вполне достаточную мне для моей мести, он тоже не появится.

Но он появился. Вылез из сиреневых кустов, как медведь. Лось был крупным мальчишкой, с широкой костью, сильный, выше меня. И вот он передо мной – не было у меня, оказывается, той заветной минуты.

В руках он держал сокровище! Я даже не успел испугаться от его внезапного появления. Мой испуг полностью, одномоментно поглотили другие чувства – восхищение и зависть. Ведь он прижимал к своему животу настоящий клад. Удача найти такой была чрезвычайно редкой. Большой автомобильный аккумулятор. Губы Лося сжались в тугую полоску, лоб блестел от пота, щёки были пунцовые. Лось сбросил свою во всех смыслах очень весомую ношу у моих ног, прямо на землю.

– Фу-у-у! Знаешь, какой тяжеленный! – выдохнул Лось из себя весь закисленный воздух усталости и затряс обеими руками, сгоняя с них напряжённость. Тут же продолжил: – Я его в кукурузе ещё вчера закопал.

И тут я понял, почему не услышал, как он подходил к кустам. За сиренью находилось поле – вот почему, и поле это недавно распахали. На нём всегда сажали кукурузу, и все так к этому привыкли, что даже зимой полностью забелённое поле без намёка на какую-нибудь растительную жизнь продолжали всё так же называть кукурузой. Наверное, по примеру озимых. Лось просто шёл по мягкому разрыхлённому чернотёму. Потому-то и были его шаги бесшумными.

– Вчера с точки шёл, а мужик какой-то выкидывал. Я его

и спрятал.

Я очнулся от секундного восхищённого оцепенения, а послужил тому, что я замер с открытым ртом, валявшийся у моих ног ценнейший аккумулятор. Все знали, и я в том числе, что внутри него находится свинец. А лучше так, с восклицательным знаком – свинец! Что значил этот мягкий металл для мальчишек? Да то же, наверное, что и золото в сундуке для пирата, который раскопал клад.

– А вчера что не забрал? Зачем зарывал? – не отрывая взгляда от заветного чёрного куба, спросил я.

– Так я же пешком был.

– А сейчас? – я не допускал мысли, что такую тяжесть можно одному увезти на велосипеде, и поэтому задал такой странный вопрос, как будто был слепой и не видел его двухколёсного друга. Но Лось кивком всё равно указал именно на свой велик. Похоже, у него было противоположное мнение насчёт одиночной перевозки тяжёлого аккумулятора на велосипеде.

– И как? – снова спросил я, поражённый его оптимизмом.

– Вот, – ответил мне Лось и вынул из кармана закатанной правой штанины комок тонкой серой верёвки.

Тут между нами разгорелся очень горячий спор. Сколько он продолжался, какие доводы мы приводили друг другу, какие нехорошие слова использовали – всё это стёрлось от времени. Как запись на размагниченной плёнке.

Сводилось всё к тому, что аккумулятор должен был при-

надлежать по праву мне и бараковским, потому что найден на нашей помойке. Но это было лишь моё мнение, и Лось с ним, конечно же, не соглашался.

— Аккумулятор я нашёл, значит, он мой и моих пацанов, — вот, если кратко, вся речь Лося.

Потом он долго сопел, пытаясь прикрепить к велосипедной раме «свой», по его мнению, и пока ещё ничей по факту аккумулятор. Но сделать это одному было немыслимо тяжело. Велосипед постоянно падал, а чтобы его поднять, приходилось аккумулятор опускать на землю. Лось прислонял велик к сирени, но тот соскальзывал с куста снова и снова, и Лось опять приседал за ним, освобождая при этом руки от тяжеленного груза. Я сидел невдалеке на опрокинутом помойном ведре. Жевал губами травинку, уверенный, что ничего у вспотевшего Лося не выйдет. Ещё мне добавлял хорошего настроения тот факт, что помощи ему ждать было неоткуда, а побежать к своим за подмогой он не решится. Пока будет бегать, бараковские толпой быстро уволокут аккумулятор к себе. Он это понимал не хуже меня.

Но Лось был чрезвычайно настырным. Всё-таки взбил в масло молоко. Он катил мимо меня свой велик с примотанным к раме аккумулятором и ехидно лыбился, весь счастливый. Клад уплывал от меня. Я был проигравшим. Конец фильма про удачливых пиратов и их остров сокровищ.

Но как могучий самолёт может погубить маленькая птичка, залетевшая в мотор, так и упрямого, сильного Лося сгу-

била мелочь. Не проехал его велосипед и двадцати шагов, как лопнула злосчастная для него верёвка. Аккумулятор рухнул всем своим весом на низ рамы. Перепуганный Лось выпустил из рук руль и лихо отпрыгнул далеко в сторону.

«Ах ты, моя милая верёвочка! Спасибо тебе, что ты оказалась такая гнилая!» – ликовал я внутри себя.

– Плавить свинец будем вместе, – так в конце концов решили мы. Лось вынужден был согласиться.

Во вторых посадках нам было спокойнее. Они ничем не отличались от первых, но находились подальше от бараков. Поэтому шансы, что чьи-нибудь родители помешают нашему сталелитейному процессу, уменьшались практически вдвое. На всякие костры в Черешенках, особенно на улицах, где стояли деревянные бараки и сараи, было наложено негласное табу. Никто никогда не жёг траву по весне или листья поздней осенью, всё загребалось в мешки и отправлялось на помойку. Никто никогда не устраивал во дворах или близ домов пикники с шашлыками – для этого был предназначен берег речки. Даже чуть заметный запах дымка вселял в жителей тревогу, и все устремлялись на поиски источника гари. С огнём в Черешенках никто не заигрывал. Ведь игра с ним в любой момент могла закончиться катастрофой. Стоило ему только чуть заняться, например в одной из пяти квартир барака, как через час уже горели бы и остальные четыре. Но огонь манил нас. Как манили большая вода и бесконечно высокое небо.

Знакомая маленькая полянка в самом конце посадок была абсолютно лысая. Наши ноги не давали траве ни малейшего шанса на этой круглой площадке увидеть свет Божий. Бывали мы здесь частенько. Ещё вчера, сразу же после утверждения договора с прямым конкурентом из частного сектора на совместное использование откопанного на нашей помойке источника цветного металла, мы раздолбили аккумулятор. Теперь Лось, сидя на корточках, заканчивал приготовление. Он палкой отбивал от свинцовых пластин окись.

– Чиркай, – Мурый поднёс свой рваный кед чуть ли не к самому Лаврешиному носу. Тот сооружал из заготовленных сухих веток кострище. И Лавреша чиркнул. Зелёной серой прямо по рваному кеду. Спичка, а вслед за ней «Строитель коммунизма» загорелись. Всё дело в том, что сбоку подошвы у Мурого был примастырен особый чиркаш. Делался он легко. Сначала требовалось раздобыть пару бычков от фильтрованных сигарет. Нужны были именно фильтры. Всё остальное, слава Богу, пока ещё нами выбрасывалось. Потом уже нет. Запретная взрослая забава всё-таки сбивала нас с пути. Но это было чуть после. Так вот, сначала с фильтров снималась бумага. Уже оголённые, они нанизывались на тонкую проволочку и расплавлялись над костром. Главное было не допустить их возгорания. В самом конце их просто этой же проволочкой размазывали по любой нужной поверхности. Горячая масса застывала и превращалась в очень качественное приспособление для воспламенения серы, не боя-

щееся воды, – в чиркаш.

Костёр наш ещё не успел полностью разгореться, а Лось уже объявил:

– Ничего не знаю. Мои четыре, остальные ваши. Иначе плавить не буду.

Три пары глаз тут же уставились на его ладони. Толстые пальцы Лося терзали уже отбитые пластины аккумулятора, разламывая их на мелкие кусочки. Земля под ними была густо усыпана серым шлаком. «Вот оно что», – моментально оценили обстановку шесть детских полушарий. Мурый нехорошо поглядел на Лаврешу, и я тут же прочёл в его коричневых глазах: «А что, Андрюха, может, сделаем так, чтобы Лосю только по рогам досталось, и больше ничего?» Андрюха (так звали Лаврешу) тут же взглядом, словно бадминтоновый воланчик, перебросил эту идею мне. Я даже не стал её обмусоливать в своей голове и медленно повертел подбородком влево-вправо. Мною моментально были оценены все возможные последствия тайного заговора моих товарищей, и мне они совсем не нравились. Только-только у меня зажило колено от недавней «каменной» войны с частным сектором. А ещё мой крутой настольный футбол, подаренный мне на Новый год дядькой из Ленинграда, с игроками на пружинках, находился сейчас у Серёги Сухаря, жившего на одной улице с Лосём. Он долго у меня его выпрашивал поиграть на недельку и в конце концов выпросил. Случись сейчас задуманное моими друзьями, с настольным футболом тогда мож-

но было попроситься. В виде неживого заложника был бы он за линией фронта, в самом тылу врага. Войну начинать было совсем не время. Мне пришлось выбирать, чем пожертвовать, и главное – чтобы перед друзьями не было потом стыдно. Мучительный и досадный выбор, но необходимый.

– Ладно, Лось, твои четыре. Остальные пацанам. Мне вообще не надо, но взамен ты отдаёшь мне один катафот, – твёрдо и уверенно произнёс я.

Лось медленно ломал последнюю пластину и ответил, оценив в уме, что его жертва совсем невелика: «Одним катафотом больше, одним меньше, никакой разницы». Он протянул мне перепачканную ладонь и произнёс:

– Лады!

Лавреша с Мурым обменялись взглядами. Их глаза были вполне довольными. Так что же послужило моему отказу от недавно ещё так сильно желаемого? Что послужило причиной хулиганистых переглядываний моих друзей и внезапного ультиматума Лося? Ответ был у нас под ногами – лежал серой россыпью на утоптанной земле. Это был шлак с отбитых пластин. Да, именно шлак, ненужный и бесполезный. Но вся беда в том, что его было слишком много. А этот факт означал только одно: раз шлака много, значит свинца мало. Математика за первый класс. Аккумулятор, из-за которого мы с Лосём вчера воевали, оказался больше тяжёлым, чем полезным. Бывший хозяин выжал из него всё, что только можно было. Свинцовая паутина пластин была окислена

до крайней степени. От неё почти ничего не оставалось.

Костёр уже гудел и потрескивал, а мы смотрели на чудо, творящееся в консервной банке. Словно маленький котелок, она висела над самым огнём. На двух вбитых в землю деревянных рогатинах по бокам костра лежала наша дежурная алюминиевая трубка. На этой-то половине от сложенной лыжной палки и висела банка из-под рыбных консервов (а может, и не из-под рыбных). Внутри неё плавился свинец. И именно сам по себе этот процесс так нас пленил, словно мы наблюдали за волшебством. Превращение твёрдого в жидкое. Придание бесформенному любой формы, какой захочешь. И конечно же, обратное превращение – застывание. Когда в банке появилось заветное серебряное молочко, в свою роль вступил принесённый Муром красный кирпич. Я и Лось взялись за концы лыжной палки. Мы обернули их широкими лопухами, чтобы не обжечь ладони. Надо быть очень осторожными – в покачивающейся на проволочной дужке посудине находится расплавленный металл. Лавреша медленно поддевает край днища банки, и жидкий свинец тонкой серебристой струйкой льётся в конусные отверстия кирпича. В этот момент дыхание замирает у всех четверых, а маленькие сердца отбивают барабанную дробь. «Чудо! И мы его сами творим!»

Вскоре приходит время и моего припаса. Мы лежим вповалку вокруг затухающего костра. Губы у всех чёрные от золы на коже печёной картошки, руки тоже. Мы довольные

и сытые.

Потом мы все вместе идём домой. Как всегда, счастливые. Ну а сегодня тем более. Карманы у троих приятно оттягивают по две свинцовые круглые пирамидки. Всё-таки в конце концов победило благоразумие. Наверное, время, проведённое вместе у одного очага, повлияло на это. Мурый, Лось и Лавреша разделили изготовленные свинчатки поровну.

Я тоже счастливый. Завтра я привинчу на свой «Орлёнок» четыре новых катафота. Лось так ведь и не заметил в прошлый раз у помойки пропажу со своего велика. Мы в расчёте.

Шестой образ. Крещендо



Дважды в год Черешенки окрашивались белым. Зимой и в тот короткий период весны, когда цвели вишни. Вечный спутник мороза снег и лопнувшие от распирающей изнутри новой жизни почки вытесняли нагромождение земных красок. Белое – это всегда только начало. Оно целомудренно и торжественно, но его слишком легко испачкать.

Да уж, действительно – всюду неумолимые циферблаты и цифры, и кисть невидимого художника уже занесена над нетронутым полотном. Абсолютно белое мимолётно. Сколько длится чувство восхищения и радости? А так ли важно это «сколько»? Важнее другое – почему оно так же, как и всё остальное, попадает в ограниченные рамки времени? Не всё чувство целиком, от его зарождения до исхода вовне, а только его самый высокий пик. То волшебное место, где часы и минуты исчезают. Тот момент абсолютного счастья, когда кажется, что наступившее безвременье будет вечным. Почему, взлетев на самую вершину, ум не остаётся там, добровольно пленённый фантастическим по ощущению чувством? Почему после обязательно вниз? Кто быстрее, кто медленнее, но всё равно – только вниз. А издали, как всегда, тихо-тихо уже подкрадывается монотонное тиканье, никогда не сбивающееся со своего равномерного ритма. Одно всегда меняет другое. Сейчас так, а потом не так – вот и всё, что нужно знать, чтобы понимать и принимать жизнь.

Первая часть (короткая)

Про такой дождь бабушка говорила: «Посикал и перестал». И действительно, такую узкую полосу бетонной дорожки, и ту он не смог полностью намочить, хоть и были его капли крупными, как слёзы лошади. Лихо начал, но потом вдруг передумал. Так часто бывает в мае. Дождь наверное

пробует свои силы, тренируется, чтобы летом быть во всей красе. Вот и в этот день всё начиналось шумно, предвещая настоящий ливень. Внезапно поднявшийся ветер нагнал, как бестолковое и испуганное стадо овец, огромные тучи с изодранными боками. Они были толстыми и расхлябанными, отливали свинцом и синяками. В один миг стало темно, как будто щёлкнули небесным выключателем. Ветер куражился. С земли клубами вздымалась пыль. Узкая пирамида высокоченного одинокого тополя податливо гнулась то в одну, то в другую сторону.

– Ну что-то сейчас будет, – услышал я голос отца за спиной и тут же – первый раскат грома. Потом ещё один, и ещё. Скрежешущий резкий звук, словно невидимый могучий великан, рвал толстый металл на части. Молния. Я вздрогнул, и глаза сами собой закрылись. Тут же лёгкое «тюк-тюк» о стекло. Это первые дождевые капли. Ветер снёс их на наше окно.

Тюк-тюк. Тюк-тюк. Тюк – и всё. Тишина. Вот и весь дождь. Как же точна моя бабушка.

Я уже был на улице. Шёл по той самой, пятнистой от капель, бетонной дорожке. Солнце сорвало со своего лица паранджу туч и уже вовсю жарило. Слева от меня линия сараев, справа – низкий длинный заборчик, за ним бараки. Абсолютно бесцельно шлёпал я босыми ногами по тёплому бетону, пьянеющий с каждым шагом и вдохом. Дождь и гроза вычистили воздух до состояния выдоха ангела. Я не дышал

им – я егопил. Жадно и взахлёб. А когда дошёл до последнего в линии сарая, во мне всё остановилось. Сначала это сделали глаза, через секунду – ноги. Удивление залило голову до краёв. За тем сараем была площадка для складирования угля, отгороженная с трёх сторон старыми листами железа, снятого с какой-то крыши. Обычно в конце лета или в самом начале осени к ней подъезжал полный самосвал и разгружался. После уже вёдрами и тележками жители растаскивали чёрное топливо по своим сараям. Покупать машину угля целиком было намного выгодней, чем привозить его мешками. Но до лета было ещё далеко, и за листами железа угля ещё не было. Так-то оно так, но в тот момент площадка не оказалась пустой, но вместо привычного чёрного цвета она была белой.

«Что за чудеса!» – непонятное стукнуло мне по вискам. Передо мной на земле был кем-то каким-то образом нарисован абсолютно белый квадрат. Потом я приблизился, взгляделся, и височное постукивание тут же прошло. «Ага», – сказал я про себя. Повернул голову назад и снова, но уже вслух, сказал:

– Ага.

Я даже закивал подбородком и прищурился, словно опытный сыщик.

А дело было вот в чём. Напротив площадки находился барак, в крайней квартире которого жило семейство Олега Немого. У них тоже, как и у всех, был свой палисадник, но

они не сделали из него, как все, огородик. В их палисаднике росли только вишнёвые деревья. По весне их облепляли бесчисленные белые цветки и пчёлы, летом – сочные, сладкие вишни, ну и, конечно же, мы, мальчишки.

Вот и вся разгадка: белыми лепестками от вишнёвых соцветий была выстелена площадка для угля. А художником был недавний ветер. Это он перекрасил чёрный квадрат в белый. Посносил цветки с деревьев и невидимой метлой замёл их на огороженный мольберт.

«А так даже лучше», – подумал я. Подумал бы и ещё что-нибудь наверняка, но мысли мои резко оборвал рыжий котяра. Он словно с неба свалился прямо в центр того самого белого квадрата, которым я любовался. Через секунду котов уже стало двое: к рыжему присоединился ещё и чёрный. Они тут же сцепились в неистовой драке. Под оглушающее шипение чёрно-рыжий клубок запрыгал, завертелся по белому рингу. Всё закончилось стремительно, как и началось. Хвостатые бойцы разбежались в разные стороны, облепленные вишнёвыми цветами, и наверняка каждый из них был уверен в своей победе.

– Май. Вот они и бесятся, бродяги, – услышал я сзади знакомый голос и повернулся. На пороге своей квартиры сидел и курил дядя Боря, отец Олега Немого. Он всех почему-то называл бродягами.

– Да, – коротко согласился я с ним, а мысли были заняты совсем другим. Мне было жаль разрушенное майскими ко-

тами старание ветра. Вздохнув, я пошлёпал дальше – абсолютно бесцельно, как уже говорил.

Вторая часть (не короткая)

Пьяные свиристели прилетели в то утро рано. Но до этого в прямом смысле слова шумного события выпал самый первый снег. Ещё не началась календарная зима, но осень, уже упаковав свои красно-жёлтые чемоданы, сгорбившись, сидела на них с унылым коричневым лицом. Квартира, в которой мы жили, быстро выстужалась. Да и в других квартирах черешенских бараков тепло не сильно-то любило и могло задерживаться в гостях. В холодное время наша печка наедалась на ночь от пуза. Перед отбоем в её ненасытное брюхо закидывалась приличная охапка берёзовых и дубовых поленьев, а с наступлением сильных морозов ей полагался десерт в виде целого ведра угля. Иногда её даже баловали настоящим деликатесом – донецким антрацитом. Мы засыпали каждый раз в тридцатиградусной духоте. Как рыбы, выброшенные на сушу, мокрые, тяжело дышащие, неподвижно лежали наши разморённые тела поверх одеял. Осознанно устраивать себе такие экскурсии по пустыне было вынужденной мерой. Картонные (как выражался отец) стены бараков служили отличной ширмой, но только лишь ширмой, а никак не хранительницами тепла. Раздеться донага, искупаться в корыте, посходить с ума от счастья, танцуя и прыгая, поплакать в одино-

честве можно было за ними смело, не опасаясь, что кто-то увидит. Стены скрывали за собой многое: перекошенные лица ругающихся и измятые одежды обнимающихся, стиснутые зубы страдающих и раскрытые рты спящих, взъерошенные причёски обрадованных и высушенные глаза опечаленных. Драмы и комедии каждый день и каждую ночь совершались за ширмами стен. Каждая квартира – как маленький театр со своими актёрами. И если увидеть домашние спектакли могли совсем немногие, то услышать – всегда пожалуйста, и платить за это не полагалось. К нашему семейному театру с двух сторон примыкало ещё по два конкурирующих. И поэтому программа спектаклей была очень насыщенной. Этакий круглогодичный театральный фестиваль для незрячих. Часто бывало, что и на улице появлялись случайные слушатели. Идёт, к примеру, человек мимо барака, неизвестно откуда, и вроде куда-то очень спешит. Но и он вдруг остановится, нагнётся, начнёт завязывать шнурки, а сам внимательно слушает. И не важно, что шнурки у него на резиновых калошах развязались – до того его какая-нибудь сцена в спектакле заинтересует и поразит. Как звуки легко, словно привидения, просачивались сквозь тонкие стены, так и тепло покидало квартиры, уступая место зябкой прохладе, этой злой тёще домашнего уюта. Осенью и зимой мы неизменно встречали новый день затаившимися в своих пуховых коконах личинками. Вот такой совсем неизученный виток эволюции. Сверхбыстрый переход из рыбы в гусеницу.

Первой всегда вставала мама. Она бабочкой в своей цветастой ночнушке быстро вылетала из тёплого двойного местечка. Отец покидал тот же кокон, когда на кухне начинал свистеть чайник. Именно этот эмалированный свистун будил его. Мама не снимала с огня чайник – отец снимал его, а для этого ему нужно было встать. Такая вот домашняя традиция. Специально её никто не заводил, так уж вышло само собой со временем. Гремящего будильника у нас не было никогда. У мамы были свои строгие внутренние часы, у отца – чайник со свистком, у меня – дисциплинированная мама. Очень часто я просыпался первым. Но я не поднимался с постели. Я ждал. Мне почему-то очень нравились утренние звуки, их постепенное нарастание. Я лежал в предрассветной темноте с открытыми глазами и слушал. Вступление, как всегда, было за старым диваном, на котором спали мои родители. Он коротко всхрустывал, и мимо моей спальни почти тут же прошлёпывали по голому линолеуму босые мамины ступни. Шлёп-шлёп. Строго, как по нотам, на кухне мама сначала протяжно зевала – потягивалась. Щёлк – включался электрический свет. Потом слышался звук открывающейся и тут же закрывающейся двери в коридор. Пауза – мама вышла. Снова слегка скрипучая дверь открылась и закрылась. Мама вернулась – концерт продолжается. Ещё один протяжный зевок. Зажурчала вода. Зашипел газ. Чиркнула спичка. Дверца холодильника – хлоп-хлоп. Выдвинулся ящик кухонного стола. Ещё один. Ложки-вилки – дзынь-дзынь. Наступа-

ет время соло чайника. Обожжённый паром свисток начинает жаловаться – сначала совсем тихо, потом громче, громче, громче. В зале недовольно снова хрустит диван. Чайник уже соревнуется с Соловьём-разбойником – кто громче. По линолеуму тяжело топают отцовские домашние тапочки. Чайник затыкается. «...как мы вам и обещали, дорогие товарищи...» – начинает надсадно хрипеть круглое пластмассовое радио, висящее рядом с окном.

– Юрик, вставай, – это говорит мама, мягко, протяжно, ласково. Потом ещё раза три-четыре: – Юрик, вставай.

Я слышу, как кипятки разливается по бокалам.

Затем отцовское шумное:

– Подъём!!!

Но я не поднимаюсь. Я хочу прослушать весь концерт до конца.

И снова мамино, совсем тихое, хоть и произносится прямо мне в ухо:

– Вставай, сынок. Утро.

Теперь можно и подниматься. Здравствуй, новый день! Счастливый день!

Так было всегда, но не в то утро. Концертная программка была переписана. Хрустнул диван, и я повернулся на бок, лицом к спальному проходу – там вскоре должны были прошлёпать мамины ноги. Но они не показались в положенное время. Вместо этого я услышал из зала звук раздвигающихся штор и удивлённый голос мамы:

– Ого! Что-то рановато он выпал.

«Не наврал Лавреша», – подумал я, сразу догадавшись, что так удивило маму. Тут же пулей выскочил я из-под тёплого одеяла в остывшее пространство комнат. Через секунду я уже стоял возле мамы, у окна в зале. На улице лежал первый снег.

Ещё два дня назад профессор Мавродаки предсказывал его. Было это так. Я встретил Лаврешу у дома братьев Пелёдикиов, одинокого, загадочного, с задранной вверх головой. Он неподвижно стоял и смотрел на небо. Прежде чем к нему подойти, я тоже поднял глаза кверху. Небо как небо. Серое. Облака плывут, вороны летают. Я снова посмотрел на Лаврешу. Он даже не шелохнулся. словно замороженная статуя, стоял он на том же месте, в той же позе, даже не моргая. Лёгкий холодок пробежал у меня по спине. «Надо его разморозить», – с такой мыслью направился я к нему – признаться, с целью не столько спасти его, сколько прогнать свой страх перед непонятным.

– Ты чего? – опасливо тронул я Лаврешу за рукав куртки.

– Облака назад плывут, – услышал я его негромкий голос и выдохнул про себя: «Живой».

– Ну и что, – сказал я, вначале даже не вникнув в суть им сказанного. Потом до меня дошло, и я спросил: – Как это – назад? Откуда?

– Не откуда, а просто назад. Ветер, видишь, вперёд дует, – и он указал растопыренными пальцами направление ветра.

Я снова задрал голову вверх. Его рука указывала от нас налево.

– А облака назад плывут. От ветра, – рука Лавреши перевела указующие персты направо.

Сначала я уловил лицом внезапный порыв холодного ветра. Он дул с противоположной стороны, куда вначале указывал Лавреша. Значит, тут он был прав. Потом я начал всматриваться в рыхлые облака неприятного цвета. И вскоре движение надо мной всей осенней небесной армады поразило моё сознание. Оказывается, удивительное находится не только под носом, оно ещё и на затылке.

«Разве так бывает?» – такой вопрос обжёг мою голову где-то изнутри. Облака действительно двигались против ветра. Да, они плыли назад, как выразился мой друг. Но Лавреше я задал совершенно другой вопрос:

– И что это означает?

– Только одно: совсем скоро выпадет снег. Всё сходится воедино. Видишь, и вороны с ума посходили, – каким-то торжественным голосом ответил он. Совсем как завуч на школьной линейке.

Я сглотнул слюну. Похоже, снова-здорово. Вылупился ещё один человечек. Вопрос я задавал Лавреше, а ответ получил уже от профессора Мавродаки.

– Вот увидишь, – предвосхитила моё «Почему?» свежеспечённая личность и многозначительно выставила вверх только лишь указательный палец.

Лавреша тут же вернулся в себя, как только из дома шумно выбежали двое братьев Пелёдики. Я тоже сразу забыл все загадочные предзнаменования. Меня уже совсем не интересовали неправильные облака и взбесившиеся вороны. Мы гурьбой бежали на точку.

– Да, прав оказался профессор Мавродаки, – мне казалось, что я это подумал. Оказалось, что произнёс вслух. Правда, негромко и неразборчиво.

– Что? У какой макаки? – мама засмеялась. – Юрик, ты что, не проснулся? Что ты там плетёшь?

– Да так, – ответил я маме и кулаками начал тереть глаза, словно выгоняя из них остатки сна.

Две пары глаз, взрослые и детские, через стекло смотрели на одно и то же чудо. На улице было непривычно светло для такого раннего утра, и уже можно было очень хорошо всё рассмотреть. Но это была лишь часть чуда.

Прямо перед окном у нас росла рябина. В том году она мощно заплодоносила. Причём до этого дерево сильно болело целых два года. Летом, когда деревья по соседству красовались своими пышными зелёными платьями, эта рябина носила только рваные обноски. Скукоженные ржавые листочки лишь клочками облепляли её сухонькие ветки, да и те моментально облетали, чуть только становилось холоднее. С нашей рябинкой тоже произошло своего рода чудо. Она не должна была выжить, но выжила. В конце лета, именно два года назад, отец привёз её в кузове своего ЗИЛа.

– Вот, под дом котлован копали, и её в расход. Не мог такую красоту вам не показать, – отец стоял за бортом самосвала и показывал нам приподнятое со дна кузова дерево. Словно за распущенные волосы, держал он за развесистые ветви молодую рябину.

Отец не преувеличивал, она была действительно запреледно красивой. Деревце было небольшим. Совсем не толстый, аккуратненький и гладкий ствол раздваивался кверху и густо разветвлялся. Благородный серовато-белёсый оттенок основания ствола постепенно переходил в красновато-бурый цвет тонких кончиков ветвей. Крона рябины была до того густой, что если бы кто-то захотел посветить сквозь неё фонариком, у него ничего не вышло бы. Луч затерялся бы, запутался в этих зарослях. Словно шикарная шевелюра на голове у африканской девочки, только не чёрного цвета. Ветви сплошь были покрыты продолговатыми листочками, смахивающими на пёрышки или маленькие пилки с частыми зубцами. Они уже успели местами покрыться лёгким багрянцем, ведь уже пахло осенью. А главным, самым удивительным и поразительным были большущие, ярко-красные гроздья крупных наливных ягод. Много, очень много таких гроздьев. Ветви были ими усыпаны. Гроздья тяжёлые, мясистые. Они тянули книзу лишённое своего места деревце. Отцу составляло больших усилий удерживать его на весу, демонстрируя нам «такую красоту».

– Помню, у нас свиноматка вот такусенькая была, – он

кивнул подбородком в сторону рябины, – гном гномом, а постоянно по десять поросят выстреливала.

Мама, вытянув вверх руку и привстав на носки, сорвала первую же гроздь, до которой смогла дотянуться. Залюбовалась ею вблизи. Оторвала одну ягодку и положила в рот. Я тоже захотел. Отодрал от грозди столько, сколько помещалось в моём кулаке, и набил себе полный рот. Стал очень жадно жевать, до того аппетитно смотрелись ягоды.

Мама слегка поморщилась.

– Кисленькая, – сказала она и положила в рот ещё одну ягодку.

Потом мама с отцом смеялись, глядя на меня. Я стоял с опущенной головой и усиленно отплёвывался. Привлекательные ягоды лишь поначалу оказались кислыми, а после – абсолютно невкусными, горькими.

– Надо, чтоб их морозцем побило, тогда они более-менее съедобные будут, – объяснила мне мама.

Отец тоже прервал смех:

– Я попросил Семёныча, чтобы он ковшом под неё поддел. Корни целы. Может, посадим, Нин? Хотя приживётся вряд ли. Но хоть снегирей зимой покормит.

Мама ответила удивительно. Не охая, не рассуждая, очень коротко и спокойно:

– Приживётся, – вот и весь был её ответ.

Бедную рябинку посадили у выходящего из зала окна, там, где у нас был свой маленький огородик. Мне кажется,

что причиной того, что она всё-таки смогла зацепиться за свою вторую жизнь, были наши взгляды на неё через то окно. Не постоянные обильные поливы и бесконечные комбинации прикормок и удобрений, а именно взгляды. От одного или от всех нас троих сразу мысленно и вслух много раз посылались ей сигналы сочувствия и подбадривания: «Болеешь, красавица? Ну ничего, выздоровеешь. Обязательно выздоровеешь», «Ну что ж ты, милая, никак твои мучения не проходят. Борись! Давай борись! Не смей сдаваться!»

На третий год наша рябина подарила всем большую радость. В мае она вся покрылась курчавыми шарами белых цветов. Толстые шершни деловито возились в них. В сентябре с неё можно было уже собирать богатый урожай ягод.

Чудо, что случилось в то утро, совсем не было каким-то необычным. Рано или поздно оно произошло бы. Можно сказать, что его даже ожидали. Оно уже случалось и до этого, и не один раз. Много-много раз случалось, и название этому чуду, к которому никак почему-то невозможно привыкнуть, – первый снег. Он всегда самый-самый. Самый желаемый. Самый тёплый. Самый чистый. Самый искрящийся. Самый-самый белый. После снег будет лежать на земле долгие месяцы и уже не сможет так же восхищать, а в конце и вовсе всем надоест.

Это первый снег осветил нашу улицу. Это он отражал от земли слабые лучи от ещё не погасших утренних звёзд. Я увидел в бараке напротив в нескольких окнах тоже раздвиг-

нутые шторы и в них тёмные очертания человеческих фигур. Там тоже смотрели на этот самый первый снег. Величественным было его мерцание и безмолвным. Мы с мамой вторили ему – тоже молчали. Мне показалось, что мы целую вечность вот так, молча, простояли у окна.

«Как было бы здорово, если бы снег мог падать не только сверху, но и как-нибудь сбоку», – такая первая мысль проскользнула в мою голову сквозь неморгающие глаза, которые жадно вглядывались в квадрат окна. Там почти всё было белое. Но моему разыгравшемуся детскому сознанию это «почти» очень мешало. Мой ум уже достиг пика удивления и катился вниз, прямо в море своих фантазий. Только они в силах спасти меня от остывания и взметнуть обратно на огненную вершину. «Ещё белого! Ещё белого!» Всё, что подчинялось горизонтали, но обращало лицевые стороны кверху, отдало свои краски снегу. Поверхность земли, крыши домов, дорога, кроны деревьев, верх одинокой ржавой кабины от КамАЗа, валявшейся вечно у противоположного барака, уже не имели своего цвета. Всё, что тянулось к небу, но смотрело только по сторонам, снегу не подчинилось. Стены барачных, стволы деревьев, деревянный штакетник, боковая часть той самой вечной кабины от КамАЗа чётко выделялись на фоне белого разлива. «Незакрашенные цветные пятна. Незаконченная картина будущей зимы».

Мою задумчивую озабоченность прервала мама:

– Есть такая примета: кто не увидит на утреннем первом

снеге ни одного следа, у того всю зиму не будет никаких бед.

– Ни одного? Даже от маленькой птички?

– Даже от маленькой птички.

Стекло расплющило мой нос, я начал очень внимательно разглядывать идеально ровное белое покрывало.

– Мам, – позвал я гнусавым голосом из-за всё ещё сплюсченного стеклом носа.

– Что? – отозвалась она сверху.

– Надо разбудить папу. Я хочу, чтобы и у него не было бед. Я ни одного следа не вижу.

– Я тоже. Да, надо его разбудить, – мамина рука взъерошила волосы на моей макушке.

Я поднял на маму голову. Она смотрела на меня и улыбалась. Её глаза отсвечивали в сумраке маленькими искорками.

– А ещё можно попросить у первого снега, чтобы сбылось желание, – почему-то загадочным шёпотом произнесла мама, как будто для того, чтобы никто больше не услышал.

– Как это? – сам не заметив того, тоже шёпотом спросил я.

– Нужно про себя загадать желание и съесть первый снег.

Я тут же задал следующий вопрос, на который мама рассмееялась в голос:

– Сколько съесть?

Ещё смеясь, мама мне показала пальцами щепоть:

– Ну вот столько, я думаю, хватит.

У меня вспыхнули щёки и широко открылись глаза от

нетерпения.

Мама это заметила. Она спросила:

— Ну что, есть у тебя желания?

— Да, да, да, — оттарабанил я и вдобавок ко всему почувствовал, как взмокли мои ладони.

Мама с торжественным видом открыла оконную форточку.

— Ой-ля-ля! Прошу вас, — величественно произнесла она и протянула ко мне руки. Я догадался, что она хочет меня приподнять к форточке, и повернулся к ней спиной. Мамины руки подняли меня за подмышки и поставили на узкий подоконник. Ледяной воздух обжёг моё лицо. Я высунул на улицу голую по плечо руку и стал тянуться. Снег я снял с ближайшей к окну рябиновой грозди. Белой пушистой шапочкой лежал он на ней. Ещё даже не спустившись на пол, я его съел.

У меня было о чём попросить у первого снега. Маме тоже досталась её щепоть. Потом мы разбудили отца, чтобы он не смог проспать чудо и зимнее счастье. И только потом прилетели те пьяные свиристели.

Первая птица ударилась о стекло совсем рядом с открытой форточкой. Чуть-чуть бы левее, и она залетела бы к нам в комнату, а так, звякнув стеклом, упорхнула куда-то в сторону. Мы и не поняли сначала, что это было. Словно кто-то бросил в окно камешек. Ещё одна стукнулась выше окна в дощатую стену. Эту птицу мы уже рассмотрели хорошо. Она

свалилась после столкновения со стеной прямо под нашу рябину. Ей, по-видимому, здорово досталось. Сначала она вообще лежала неподвижно, лапками кверху. Птица не была маленькой, как воробьи или синички. Я успел заметить у неё раздутое серо-розовое пузо, ярко-жёлтый кончик хвоста и чёрное горло под маленьким клювом, прежде чем она очнулась. Да, к нашей радости, голова у неё оказалась крепкой. Пару раз шевельнув лапками, она резко вскочила на них, но не улетела. Начала медленно кружиться то в одну, то в другую сторону, словно давая нам хорошо рассмотреть её. Спина у неё оказалась темнее, чем живот. На голове был залихватский хохолок, а ещё она носила на своих глазах чёрную маску, как у Зорро. Такими же чёрными были у неё крылья, украшенные белыми и жёлтыми полосками, и хвост, кроме самого кончика.

«Как же она называется?» – подумал я, восхищённый никогда прежде не виданной чудо-птицей. Первым, кто произнёс её имя, был отец, но не все его слова мне были понятны.

– Свиристель. Наклюкался с утра пораньше, а ведь даже не выходной. Пьяница, – отец почему-то засмеялся, хотя я не услышал ничего смешного, и махнул рукой в сторону окна.

Кружащаяся птица окончательно пришла в себя и вспорхнула в небо. Мама пошла на кухню готовить завтрак, но уже через секунду вернулась на мой восхищённый и немного напуганный крик:

– Мама, мама, иди сюда! Что с ними?!

Мой вопрос был о птицах. Стая точно таких же свиристей, что совсем недавно чуть было не пробили нам стену и не разбили окно, обрушилась на наш огородик, на нашу рябину, на наш барак. Это была очень шумная туча странно ведущих себя птиц. Они бились в окно, в стены, в штакетник, барахтались на земле и кружились по замысловатой спирали в воздухе. К нам в форточку летело их оглушительное «свирири-свирири». Красные мелкие крошки и брызги летели во все стороны от нашей рябины. Птицы жадно клевали ягоды. Не был больше снег под ней белым, и сотни птичьих следов-треугольничков истоптали его. Мы успели вовремя. Мы видели его нетронутым и абсолютно белым.

После прошедшей без особых происшествий зимы мне купили новый «Орлёнок». Не зря я ел снег. Моё желание и правда исполнилось!

Седьмой образ. Акела промахнулся



У Мурого был родной младший брат. Вроде как родной, но уж сильно был он не похож на самого Мурого. Звали его

Коля, а прозвище он имел Коля – «я» было ударным. Росточка он был невысокого, меньше своих одноклассников, и так же, как Мурый, по-цыгански черняв. Но как чёрный кот схож с чёрным псом, так и у этих родных братьев что было общего, так это их инородная смуглость. Разных пород они – это сразу было видно. Разными путями и ходили. Если один шёл налево, то другой нарочно направо. Коля хромал на одну ногу. Он был инвалид с детства. Правая нога его была заметно короче левой. В довесок к короткой ноге он ещё сильно шепелявил. Только вот этими двумя недостатками и отличался от всех остальных. Да и недостатки ли это были? Во всяком случае в то время они нами совсем не замечались. К его шепелявости мы давно приспособились и без особых проблем понимали, что он болтает, а хромота ничуть не мешала ему самому участвовать во всех наших уличных забегах и скачках. А что ещё надо? У Коли со временем выработалась даже особенная техника бега – подпрыгивающе-загребаящая. Техника эта, надо сказать, очень даже приносила свои плоды. Он мало от кого отставал. Да, кто первый раз видел его бегущего, тому было очень смешно. У нас же его особый бег не вызывал даже улыбки. Давно все привыкли. У Коли был особый талант, очень ценимый в среде мальчишек. Он был невероятно меткий. В каменных войнах, ведущихся с частой периодичностью на улицах Черешенок, Коля был одним из лучших стрелков. Настоящий снайпер. На теле многих врагов он оставил синие отметины, а то и кровавые, если попа-

дало по голове. Но что служило его даром, было и его несчастьем. Войны непременно когда-нибудь заканчивались, и на улицы приходило хоть и временное, но всё же перемирие. Можно было уже совсем не опасаясь сходить в одиночку на другую улицу. Тут и там уже замечались смешанные шайки из ещё недавних противников. У Коли такой возможности – одному спокойно пройти по чужой территории – не было никогда. Даже если он и сам желал мира, то война никак не хотела его отпускать, и виной тому были его меткие руки. Особенно частный сектор, даже в самые тёплые времена с бараковскими, не желал принимать в свои компании знаменитого каменного снайпера. Коля не заходил на их территорию, кроме как во время наших налётов на них, и не сильно-то и расстраивался из-за этого. Он обитал на трёх барачных улицах, где был настоящей звездой. Здесь он был всегда свой. Коля так же отлично владел и другим оружием. Точно попадал в цель из обоих видов рогатки: той, что стреляет камнями, и той, что шпонками. Также он редко промахивался из самострела, в качестве патронов к которому использовался сухой горох.

Однажды как-то летом всё мальчишеское братство заболело совсем новым, невиданным доселе оружием. Болезнь эта развилась очень стремительно, заразила всех, но и прошла так же быстро – буквально за несколько дней. Взрослые объявили строгий карантин и все вместе свернули заразе шею. Откуда же залетел самый первый микроб этой болез-

ни? Если копать очень глубоко, то от писателя Конан Дойля. Если искать поближе, то из знаменитого сериала о сыщике Шерлоке Холмсе. Страшный заросший туземец, стреляющий из трубки отравленными стрелами, не ушёл незамеченным от крайне цепкого мальчишеского взгляда. Никогда точно нельзя сказать, за что именно зацепится детский ум. Летящая от человеческого выдоха стрела почему-то произвела на нас всех тогда куда большее впечатление, чем гениальная голова Холмса. Волна искомства и добычи прокатилась среди маленьких граждан, что ростом не выше метра пятидесяти. Искали то, из чего можно было изготовить удивительное оружие. Основным местом поисков были, конечно же, помойки. Главным, что требовалось, была трубка. Её-то поиск и создавал большую проблему. Но с ловкой подачи именно Коли (А кого же ещё? Это его тема!) проблема эта моментально у всех решилась. «Надо добывать ключи от сарайных замков». Основным аргументом в пользу такого способа решения задачи была абсолютно, как нам тогда казалось, правильная мысль: «До зимы ещё целая вечность». Почему правильная? Да потому что детский мозг воспринимает время по-другому, чем взрослый. Время для детей сильно замедляется. Поэтому-то мысль та была искренней и кристально честной. Да, мы прекрасно осознавали, что за это нам всем будет наказание от родителей, но срок, на который оно откладывалось, нас сильно успокаивал и сглаживал острые края опасения. Как нетрудно догадаться, из-за

новой затеи пострадали тогда лыжные палки. У многих родителей через несколько месяцев незапланированный поход в «Спорттовары» был связан именно с ними. Теперь требовалось найти то, из чего можно было изготовить стрелы. Тут было легче: пара старых велосипедных колёс, раздобытых на помойке, снабжала боеприпасами целую армию. И вот уже во всех потаённых углах точила ребяшня напильниками вырванные из колёс спицы, делая их концы острыми. На получавшиеся таким образом шильца нанизывались продолговатые кусочки поролона. Вот и готовые стрелы. Не хватало только яда кураре, но, слава Богу, никому не пришла тогда в голову мысль поискать его какую-нибудь не совсем смертельную формулу. А то бы обязательно нашли – сметливость у босоногой ребятни во все времена не переводилась. «Сильно дуть» – таким, наверное, целый месяц летних каникул было основное наше занятие. Мы просыпались пораньше, жевали спешно бутерброды, приготовленные ушедшими на работу родителями, доставали из укромных местечек свои духовые ружья и убегали до вечера на наши стрельбища. Там мы и дули. Сильно, отрывисто, до головокружения и шума в ушах. Самыми зачётными целями были банки из-под стиральной пасты «Ландыш». Эти небольшие белые бочонки вешались на воткнутые в землю палки и принимали в себя все наши колючие дувки. Стрелы отлично входили в мягкую пластмассу. И тут Коля тоже был на первых ролях. Он быстрее всех освоил туземное оружие. После одинакового коли-

чества выстрелов его «Ландыш» всегда оказывался самым ежистым.

Со временем оружие наше стало совершенствоваться и украшаться. Было замечено, что от длины трубки зависят дальность и скорость полёта стрелы. И тогда юные стрелки снова овладевали ключами от сараев и вытаскивали оттуда уцелевшие от бывших пар одинокие лыжные палки: «С одной всё равно не сильно-то покатаешься». Чтобы одно оружие отличалось от другого, на нём краской выводились замысловатые узоры. К трубке привязывалась верёвка, и уже можно было, словно ружьё, носить её за спиной. Изолентой заматывался один из её концов, обозначая место для губ. Очень ценился тогда цветной поролон. Он позволял легче отыскивать улетевшие стрелы. Кто-то для этих стрел, помнится, смастерил даже небольшой колчан.

В то лето Коля особенно дружил с Лаврешей. Вернее даже, это Лавреша души не чаял в Коле. Всюду они были вместе. Куда косолапил грузный Лавреша, туда же хромал щуплый Коля, и наоборот. Такого раньше не замечалось за ними никогда. Во-первых, Лавреша был на два года старше, а ведь даже один год разницы сильно ощущается в детстве. Малым вечно суждено подсматривать за старшими и подражать им, ну и, конечно, с нетерпением ждать своего взросления. Старшие же пацаны всегда будут отгонять подзатыльниками малявок и смотреть на них свысока. Ну а вторая причина того, что так удивительна была их внезапная дружба, заклю-

чалась в том, что Лавреша и Мурый до этого здорово ладили между собой. Нельзя одновременно одним глазом видеть солнце, а другим звёзды. Так и с родными братьями Романенко (такая была у них фамилия) приходилось выбирать, с кем тесно дружить, а с кем оставаться просто приятелями. Не знаю почему, но то, что два родных человека, живущие под одной крышей, были так холодны друг к другу, было для меня лично какой-то данностью. Да и другие тоже не особо этим заморачивались. Наверное, всё дело в накале страстей. А накала-то как раз никакого в их отношениях и не было. Мурый и Коля никогда даже не ругались между собой, не говоря уже о совместных лупцеваниях. Просто были холодны, как лёд, друг к другу и всё. Поэтому-то их странные отношения и не вызывали особого нашего внимания. Так было всегда, и это всех устраивало. Только единственный раз я задался этим вопросом, когда подслушал случайно разговор моей мамы с её подружкой – обычное вечернее перемывание косточек всем соседям. Из их разговора я понял, что кто-то, кого не знает мамина подружка, но зато знает её подружка, знал семью Романенко ещё до их поселения в Черешенках. Этот кто-то рассказал, что мать тогда одна жила с Димой (так звали Мурого), а Коля родился уже здесь, в Черешенках, и их мать уже не была одинокой. Я сопоставлял в уме новые подслушанные мной факты о Коле и Муром, но в итоге так ничего и не сопоставил. Наверное, у меня тогда появились дела поважнее.

Вот как зародилась крепкая дружба Коли и Лавреши. Воскресным вечером я с родителями возвращался от бабушки. На улице смеркалось. У нас уже была беленькая, я сидел на заднем сиденье, весь обложенный сумками и с огромным пучком зелёного лука и укропа в руках. Въехали в Черешенки, через приоткрытые окна знакомый родной воздух ворвался в салон машины – запах готовящихся на летних верандах щей на всю предстоящую неделю. Ещё издали у двух общественных уличных туалетов я заметил нашу шайку. Всегда освещённый единственным уличным фонарём так у тех туалетов служил нашим местом сбора. Сначала все собирались там, а потом уже разбредались кто куда. Так было заведено. По каким-то ведомым только ребячьей интуиции движениям моих друганов я понял: затевается что-то нехорошее.

«Могу пропустить какую-то важную затею!» – я заёрзал на сиденье и попросил отца остановить машину у туалетов.

Он не ответил мне, а мама сказала:

– Переоденься сначала.

Отец, естественно, не остановился. Я нахмурил брови и сильно сжал в руках зелёный пучок, в нос мне ударил тяжёлый луковый дух.

Моё переодевание заняло почти целый час. У мамы вдруг появились новые условия:

– Если хочешь пойти погулять, ты должен помочь отцу спустить сумки в погреб.

– У-у-у! Всегда так! – я недовольно замычал, как молодой бычок.

– Не мычи. Я вообще могу тебя не пускать, уже почти ночь на дворе.

– Какая ночь, мам?! Все гуляют, – протестовал я.

– Все – потому что воду матерям успели натаскать, – произнесла убийственно мама, и я уже догадался, что за её словами последует. На пороге вскоре появились два пустых эмалированных ведра.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.